

Темная вода

Автор:

Ханна Кент

Темная вода

Ханна Кент

Ирландия, XIX век. В большие города уже пришла индустриальная эра, а обитатели деревенской глубинки, как и тысячу лет назад, верят в сверхъестественное. Когда у Норы Лихи скоростижно умирают еще нестарый муж и молодая дочь, а четырехлетний внук теряет способность ходить и разговаривать, женщина понимает, что стала жертвой фэйри, или «добрых соседей», как их боязливо-уважительно называют жители долины. Против этих существ бессильны и лекарь, и священник – фэйри сами выбирают, кому помогать, а кому вредить.

Нора обращается к знахарке Нэнс Роух, которая, по слухам, знает с «добрыми соседями»: ей ведома сила трав, воды и огня, она сумеет прогнать подменыша и вернуть бабушке здорового внука...

В своей второй книге автор всемирного бестселлера «Вкус дыма» Ханна Кент снова обращается к реальным историческим событиям – «Темная вода» написана на материалах судебного процесса в ирландском графстве Керри в 1826 году.

Ханна Кент

Темная вода

Моей сестре Брайони

Жила-была старуха, жила она в лесах,
Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле,
Жила она в лесах,
Что возле речки Сайле.

И был у ней младенчик,
Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле,
Трехмесячный младенчик,
В лесах у речки Сайле.

И был у ней острый ножик,
Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле,
Острый как бритва ножик.
В лесах у речки Сайле.

Вонзила нож старуха,
Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле,
Младенчику прямо в сердце.
В лесах у речки Сайле.

В дверь трижды постучали,
Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле,
В дверь трижды постучали.
В лесах у речки Сайле.

– Убила ты младенца,
Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле,
Свершила ты злодейство,

Теперь готовься к казни!

Петлей сдавили горло,

Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле,

Повесили старуху.

В лесах у речки Сайле.

Старинная ирландская баллада о злодействе (1600 г.)

Когда все уже сказано и совершено, то исконное наше неразумие, как знать, не целительней ли будет иной разумной истины, ибо, согретое теплом родных очагов и пламенем наших сердец, готово оно приять и диких пчел истины, дабы роились они, давая свой сладкий мед.

У. Б. Йейтс. Кельтские дали

Hannah Kent

THE GOOD PEOPLE

Copyright © 2016 by Hannah Kent

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. Издательство «Синдбад», 2018.

* * *

Часть первая

Бедняков врачует смерть

Liagh Gach Boicht Bas

1825

Глава 1

Мать-и-мачеха

Первой мыслью Норы, когда ей принесли тело, было, что это не ее муж. Бесконечно долгий миг она глядела, как мужчины несут тяжелое тело Мартина на мокрых от пота плечах; от холода перехватывало дыхание, а она думала, что все это лишь злая шутка, подмена, грубая подделка, страшная своей похожестью. Рот Мартина и глаза его были открыты, но голова безжизненно свесилась на грудь. Кузнец и пахарь принесли ей что-то неодушевленное, что не было ее мужем. Это вовсе не он.

Мартин окапывал канавами поля на склонах. Питер О'Коннор сказал, что видел, как он вдруг перестал копать, прижал руку к сердцу, как будто давая клятву, и повалился на рыхлую землю. Он не вскрикнул от боли. Ушел без страха и не попрощавшись.

Потрескавшиеся губы Питера дрожали, глаза были красными.

– Сочувствую тебе в твоём горе, – шепнул он.

И тут у Норы подкосились ноги, и она упала наземь, прямо в грязь и солому двора. Осознание ужасной правды сжало сердце.

Сильные, покрытые шрамами от кузнечной работы руки Джона О'Донохью и его плечо приняли тяжесть Мартинова тела, чтоб Питер мог поднять Нору с грязной

земли. Взгляды обоих мужчин были темны от горя, и, когда Нора, открыв рот, задохнулась невыкрикнутым воплем, они склонили головы, словно все-таки его слышали.

Разжав стиснутые кулаки Норы, Питер стряхнул с ее ладоней остатки птичьего корма и шуганул с порога клохчущих кур. Обняв Нору за плечи, он повел ее обратно в хижину и усадил возле очага, рядом с которым в постели, устроенной на широкой лавке со спинкою, спал ее внук Михял. Когда они вошли, мальчик заворочался. Щеки его покраснелись от жара торфяного пламени, и в быстром взгляде, каким Питер окинул Михяла, Нора заметила любопытство.

Вслед за ними вошел и Джон. Тяжелая ноша, которую он нес теперь один, заставляла его крепко стискивать челюсти, грязь с его башмаков пачкала глинобитный пол. Крякнув, он скинул тело Мартина на постель в спальней выгородке. Из соломенного тюфяка в воздух поднялась пыль. Четкими размеренными движениями кузнец осенил себя крестом и пробормотал, что жена его, Аня, скоро будет и что нового священника известили.

Нора почувствовала, как ей сжало горло. Она поднялась, чтоб пройти туда, где лежал Мартин, но Питер удержал ее, взяв за кисть.

– Его перво-наперво обмыть надо, – мягко сказал он.

Джон с беспокойством взглянул на мальчика, но ничего не сказал и молча вышел, прикрыв за собой створку входной двери.

В доме стало темнее.

– Говоришь, ты видел, как он упал? Собственными глазами видел?

Голос Норы был слабым и доносился словно издалека. Она стиснула руку Питера, сжала ее до боли в пальцах.

– Да, видел, – негромко сказал он, не сводя глаз с Михяла. – Я заметил его в поле, помахал ему и, как он упал, тоже видел.

– Без канав-то как же? Он вчера объяснял, зачем так нужно, чтобы дождь...

Нора почувствовала, как смерть мужа наползает, накрывает собой ее всю, заставляя дрожать всем телом. Питер набросил ей на плечи куртку, и по знакомому запаху горелой мать-и-мачехи она поняла, что это куртка Мартина. Видно, и куртку принесли вместе с телом.

– Надо будет кого другого попросить работу доделать, – вздохнула она, трясь щекой о ворс куртки.

– Не думай сейчас об этом, Нора.

– И крышей заняться тоже. Весна на носу. Латать надо.

– Мы все позаботимся об этом, не волнуйся.

– И Михял. Мальчик... – Охваченная тревогой, она взглянула на мальчика. В отблесках пламени волосы его казались медно-рыжими. Слава богу, спит. Когда он спал, уродство было не так заметно. Скрюченные ноги расслаблялись, а о немоте его никто бы не догадался. Мартин всегда говорил, что во сне Михял особенно похож на их дочь. «Вот сейчас он словно бы и не болен вовсе, – сказал он однажды. – И видно, каким он станет, когда уйдет эта хворь. Когда мы его вылечим».

– Может, позвать к тебе кого, Нора? – спросил Питер. Лицо его исказилось гримасой сочувствия.

– Михял... Не хочу, что он был здесь, – голос ее звучал хрипло. – Отнеси его к Пег О'Шей.

Питер смутился:

– Ты не хочешь, чтобы он оставался с тобой?

– Убери его отсюда.

– Негоже оставлять тебя одну, Нора. Пусть хоть Аня придет.

– Не желаю, чтобы все здесь глазели на него!

Склонившись к мальчику, Нора подхватила его под мышки и подняла в воздух под самым носом Питера. Михял сморщился, заморгал, разлепляя слипшиеся веки.

– Возьми. Отнеси его к Пег. Пока не появился никто.

Михял завопил, пытаясь высвободиться из рук Норы. Его ноги дрожали. Кожа на них была в болячках, словно лопалась на костлявом тельце.

Питер поморщился:

– Это ведь дочери вашей, да? Упокой Господь ее душу.

– Забери его, Питер. Пожалуйста.

Он задержал на ней взгляд – долгий и печальный.

– Да народу-то в такой день и дела до него не будет. Все о тебе только и думать станут.

– Они будут глазеть на него и шушукаться, я знаю.

Михял, запрокинув голову, поднял крик, сжимая руки в кулаки.

– Что это с ним?

– Бога ради, Питер. Унеси его. – Голос изменил Норе. – Убери его от меня!

Кивнув, Питер взял ребенка себе на колени. На мальчике было шерстяное девчачье платье, слишком длинное для него, и Питер неуклюже укутал ноги мальчика выношенной материей, стараясь прикрыть и пальцы.

– На дворе холод, – пояснил он. – У тебя платка какого для него не найдется?

Дрожащими руками Нора сняла с себя свой платок и отдала его Питеру.

Он встал, прижимая к груди закутанного хнычущего ребенка.

– Мне жаль тебя, Нора. Очень жаль.

Питер ушел, оставив дверь распахнутой настежь.

Нора подождала, пока плач Михяла не затих вдали, и удостоверилась, что Питер вышел на дорогу. Тогда она поднялась с низкой скамеечки и прошла в спальную выгородку, кутаясь в куртку Мартина.

– Раны твои, Господь всемилостивый...

Ее муж лежал на их супружеском ложе, вытянув руки вдоль тела и прижав к бокам мозолистые, испачканные травой и землей ладони. Глаза его были полуоткрыты, и белки их жемчужно мерцали на свету, падавшем из открытой двери.

Неподвижность Мартина и мертвая тишина вокруг поднимали в душе ее волны скорби. Опустившись на кровать, Нора прижалась лбом к скуле Мартина, и от щетинистой кожи на нее повеяло холодом. Натянув куртку на них обоих, она закрыла глаза и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Боль обрушилась, как водопад, и затопила ее целиком. Сотрясаясь всем телом, она зарыдала, уткнувшись в ключицу мужа, вдыхая запах его одежды, впитавшей запаха земли и навоза, и нежный аромат полей, и торфяной дымок осеннего вечера. Она плакала и выла, скулила тоскливо и жалобно, как брошенная бездомная собака.

Еще утром они лежали в этой постели, бодрствуя в первые мгlistые часы рассвета, и теплая рука Мартина покоилась на ее животе.

– Думаю, дождь будет сегодня, – сказал он, и Нора позволила мужу еще теснее прижать ее к широкой груди и приноровила свое дыхание к тому, как вздымалась и опадала его грудная клетка.

– Ночью ветер был.

– Он разбудил тебя?

– Меня ребенок разбудил. Он плакал, боялся ветра.

Мартин чутко прислушался:

– Сейчас тихо. Не шевелится.

– Ты картошку сегодня копать будешь?

– Канавы.

– На обратном пути поговоришь с новым священником о Михяле?

– Поговорю.

Нора приникла всем телом к мертвому телу мужа, вспоминая все их ночи и как он привычно прикасался ногой к ее ноге, и рыдала, рыдала до дурноты.

Притихнуть ее заставило лишь опасение разбудить стерегущих ее душу демонов. Запихнув себе в рот рукав Мартиновой куртки, она затряслась в беззвучном плаче.

«Как же ты посмел бросить меня здесь одну», – думала она.

* * *

– Нора?

Она проснулась. Запухшие глаза различили хрупкий силуэт жены кузнеца, стоявшей в дверях.

– Аня, – прохрипела Нора.

Женщина вошла, перекрестившись при виде тела.

– Помилуй Господи его душу. Сочувствую тебе в твоём горе. Мартин, он... – Она осеклась, опустившись на колени возле Нору. – Он был замечательным человеком. Редким.

Нора села на кровати, смущенно вытерла глаза фартуком.

– Твое дело горевать, Нора. Вижу... А наше дело проводить его как положено. Ничего, если я обмою его и уберу тело честь по чести? За отцом Хили уже послано. Скоро прибудет. – Аня положила руку Норе на колено и тихонько сжала.

Нора в ужасе не сводила глаз с нависшего над ней широкоскулого лица соседки: в полумраке оно казалось призрачным.

– Ну-ну... Вот твои четки. Он теперь с Господом, Нора. Помни это. – Она обвела хижину взглядом. – Ты что, одна? А разве ребенок...

Нора крепче сжала четки.

– Я одна.

* * *

Аня обмывала Мартина бережно, будто собственного мужа. Поначалу Нора лишь смотрела, стиснув четки так, что дерево впечаталось в кожу. Не верилось, что это лежит ее муж – голый, с таким нестерпимо белым животом. Как стыдно, что чужая женщина видит все укромные места его бледного тела. Когда, встав, Нора потянулась за тряпкой, Аня беспрекословно ее отдала. И Нора сама стала обмывать тело, каждым движением руки словно прощаясь – с изгибами худой груди, очертаниями ног...

«Как же хорошо я тебя знаю», – подумалось ей, и, проглотив снова подступивший к горлу комок, она стала разглядывать тонкую, как паутина, сеточку вен на бедрах мужа и знакомую поросль курчавых волос. Она не могла понять, почему тело Мартина стало таким маленьким. Ведь при жизни он был сущий медведь и в первую их брачную ночь поднял ее, словно невесомый солнечный лучик.

Темные волосы на его груди были влажными.

– Вот теперь, думаю, он чистый, Нора, – сказала Аня.

– Еще чуть-чуть.

Она провела ладонью по его груди, словно ожидая, что та поднимется от дыхания.

Аня отняла у нее серую тряпку.

* * *

Вечерело, снаружи налетал порывистый ветер, Нора сидела возле Мартина, предоставив Ане поддерживать огонь в очаге и зажигать лучину. Внезапный резкий стук в дверь заставил обеих подскочить от неожиданности. Сердце Нору обожгла мысль, что это, может статься, Мартин возвращается с поля.

– Мир этому дому!

В хижину вошел молодой человек, полы его облачения раздувались на сквозняке. Новый священник, догадалась Нора. Темноволосый, румяный, хоть и долговяз, а лицо детское, с пухлыми губами. Нора заметила и щель между передних зубов. С одежды отца Хили стекала вода, и вошедшие за ним Питер и Джон тоже были насквозь мокрые. А она и не знала, что погода так переменялась.

– Добрый вечер, отец.

Аня приняла из рук священника его мокрый плащ и, аккуратно расправив, повесила сушиться у очага.

Священник озираясь, пока не заметил Нору в спальной выгородке, и направился к ней, нагнув голову под низкой притолокой. Глядел он серьезно.

– Да пребудет Господь с вами, миссис Лихи. Сочувствую вам в вашем горе. – Взяв ее руку в свои, он сжал ее ладонь. – Надо думать, для вас это явилось ужасным ударом.

Нора кивнула – во рту у нее пересохло.

– Все там будем, но всегда печально, когда Господь призывает к себе тех, кого мы любим. – Он отпустил ее руку и, склонившись к Мартину, приложил два тонких пальца к его горлу. Потом слегка кивнул: – Отошел. Я не могу совершать таинство.

– Смерть подкралась к нему нежданно, отец, – это произнес Питер. – Нельзя ли все-таки сделать все как положено? Ведь душа-то, может, еще и не покинула тела!

Отец Хили вытер лоб рукавом и конфузливо поморщился:

– Таинства предназначены живым. Усопшим они ни к чему.

Нора сжала в руке четки так сильно, что побелели костяшки пальцев.

– Помолитесь за него, отец, вы ведь помолитесь, правда?

Священник перевел взгляд – с мужчин в дверях на Нору.

Та вскинула голову:

– Он был добрым человеком, отец. Скажите над ним молитвы.

Вздохнув, отец Хили кивнул и, потянувшись к саквояжу, вытащил оттуда огарок свечи и пузырек с елеем. Он зажег свечу от огня в очаге, неловко сунув огарок в руку Мартина, начал читать молитвы и уверенной рукой мазать елеем голову покойника.

Опустившись на жесткий пол рядом с кроватью, Нора привычно и бездумно перебирала четки. Слова молитвы казались пустыми, лишними, они холодно застывали во рту, и вскоре она перестала их шептать и сидела молча и немо.

Не смогу я одна жить, думала она.

Отец Хили откашлялся, поднявшись, отряхнул с колен приставшие к ним крошки глины и потянулся за плащом и монетой, поданной Джоном.

– Да пребудет с вами милосердие Господне, – сказал он Норе и, стряхнув со шляпы капли дождя, нахлобучил ее на голову. Он опять пожал ей руку, и она вздрогнула от прикосновения жестких и костлявых его пальцев. – Храни вас Господь. Просите его о любви и прощении и храните вашу веру, миссис Лихи. А я буду непрестанно поминать вас в молитвах.

– Спасибо, отче.

Они глядели, как священник во дворе садится на своего осла, ежась под струями дождя. Помахав на прощание, он принялся нахлестывать осла хворостиной, пока вокруг них не сомкнулась непогода и обоих не поглотила непроглядная темень долины.

* * *

Вечером в лачугу собрались соседи, прослышавшие, что Мартин умер у перекрестка, неподалеку от дома кузнеца, и аккурат когда кузнец ударил молотом по наковальне, словно удар этот Мартина и убил. Люди жались поближе к очагу, утешаясь трубками и бормоча слова сочувствия Норе. Дождь барабанил по соломенной крыше.

Норе волей-неволей пришлось помогать Анье, хлопотавшей о предстоящем поминальном бдении. Не время лить слезы, когда следует позаботиться о потине,[1 - Потинь – крепкий алкогольный напиток из ячменя или картофеля, ирландский самогон (ирл. poitín). Здесь и далее произношение ирландских имен и названий приводится в варианте, свойственном диалекту провинции Манстер, где происходит действие романа.] глиняных трубках и табаке и раздобыть стулья, чтоб всех усадить. Нора знала, что тень смерти обычно пробуждает в людях желание курить, есть и пить, словно, наполняя легкие дымом, а утробу едой и питьем, они уверяются в собственном добром здравии и в мысли, что их жизнь еще длится.

Вновь ощутив, как горе валит с ног, она отошла в угол и уперлась ладонями в прохладную беленую стену. Несколько раз медленно вдохнула, разглядывая собравшихся. Большею частью это были жители долины, связанные родством, общим трудом и уважением к традициям, впечатанным в эту землю прежними поколениями. Степенные, немногословные люди, они жили под сумрачной сенью Крохейна, в плодородной впадине между скал и камней Фойладуейна, Дерринакуллига и Клонкина. Со смертью они были знакомы не понаслышке. Нора видела, как соседи готовят ее лачугу к скорбному обряду – так, как почитают это наиболее достойным. Они подкладывали торф в очаг, пока не разгорелось дымное пламя, и делились историями. Будет время и поплакать, но это позже.

Снаружи прогремел гром, и люди, вздрогнув, придвинулись поближе к огню. Снуя по комнате и подливая собравшимся воду в кружки, Нора слышала шепоты о предзнаменованиях. Поминали погоду и сорок с бекасами, предрекших Мартину смерть. Много толковали и про место, где он упал, – на скрещении дорог, там, где хоронят самоубийц. Вспомнили и то, как внезапно в этот день нахмурилось небо и поползли с запада черные тучи – верная примета, говорившая о скорой Мартиновой гибели, и как потом долину накрыло грозой.

Не зная, что Нора его слушает, Питер О'Коннор рассказывал мужчинам, как перед самой той минутой, как Мартин схватился за сердце, он, Питер, заметил в поле четырех сорок, сидящих кружком:

– Иду я прямо по дороге, и что вы думаете? Вспорхнули? Как бы не так! Прошел совсем рядом – рукой достать – а им хоть бы что, даже не шелохнулись! Странная штука, думаю. И вот, провалиться мне, парни, если вру, меня точно морозом по коже ожгло: показалось мне, что это сговор у них какой. Помер кто-то, решил я. Иду, само собой, дальше, дошел до того места неподалеку от кузни, где дороги расходятся, и вот оно – недолго времени прошло, и Мартин уже лежал там, а в глазах только небо да темные тучи над горами.

Опять послышался громовый раскат, от которого мужчины подскочили на стульях.

– Так, стало быть, это ты нашел его тело? – спросил племянник Норы Дэниел и затянулся трубкой.

– Я. Вот горе так уж горе. Я сам видел, как рухнул этот богатырь, словно подрубленный. Еще и остыть не успел, упокой Господи его душу.

Питер понизил голос:

– И это еще не все. Когда мы с Джоном несли сюда тело, тащили с перепутья вверх по склону – а весу в нем сами знаете сколько, так что шли мы еле-еле, мы раз остановились передохнуть и глянули вниз в долину, в ту сторону, где лес, и там видим – светится.

Пронесся возбужденный ропот.

– Да-да. Свет. И свет шел с того места, где фэйри и нечисть вся эта собираются, у Дударевой Могилы, – продолжал Питер. – И разрази меня гром, если это не куст боярышника там горел. Попомните мое слово, недолго ждать новой смерти в этом доме. – Он перешел на шепот: – Сначала дочка скончалась, затем муж... Ей-богу, смерть троицу любит. А если уж добрые соседи тут замешаны, тогда... сами знаете.

Чувствуя комок в горле, Нора обернулась, ища глазами Анью. Та вынимала из соломенного кишяна[2 - Кишя?н (ирл. cisean) – корзина.] курительные трубки из белой глины и нераскрошенный табак.

– Слышишь, гроза-то как разбушевалась? – шепнула Аня и указала на корзину: – Жена твоего племянника Дэниела тут принесла кой-чего.

Нора взяла в руки маленький тряпичный узелок, развязала дрожащими пальцами. Соль, промокшая от дождя.

– Где она?

– Читает над Мартином.

В спальне толпился народ и воздух был сизым от трубочного дыма, которым мужчины и женщины постарше окуривали ее мужа. Нора заметила, что тело переложили головой к изножию, чтобы отвести дальнейшие несчастья. Рот Мартина теперь был разинут, по коже расползалась восковая бледность, лоб

блестел от святого елея. Свечной огарок потух и выпал куда-то в простыни. Стоя на коленях перед покойником и зажмурившись, молодая женщина читала богородичную молитву.

Нора тронула ее за плечо:

– Бриджид...

Та подняла на нее взгляд.

– О, Нора, – шепнула она, с усилием поднимаясь. Юбки и передник задрались на раздувшемся беременном животе, так что виднелись щиколотки. – Такое горе! Мартин был крепкий мужчина. Ты-то как теперь?

Нора собралась ответить, но промолчала.

– Слышь, мы с самим принесли тебе разное, что может пригодиться. – Она мотнула головой, указывая туда, где сидели и курили ее муж и Питер. – Я на стол корзину поставила.

– Знаю. Аня показала. Спасибо вам обоим за доброту. Я вам заплачу.

– Тяжкий тебе выпал год...

Нора сделала глубокий вдох.

– Не знаешь, что там с выпивкой?

– Шон принес потинь.

Бриджид указала рукой туда, где дядя Дэниела Шон Линч ставил на пол два глиняных кувшина. С ним была его жена Кейт, женщина с кривыми, торчащими вперед зубами и беспокойным затравленным взглядом. Она стояла в дверях, беспокойно озираясь. Оба явно только что вошли, принеся с собой промозглый холод; их одежда потемнела от влаги.

– Нора... Бриджид... – Завидев женщин, Кейт кивнула им. – Печальный нынче вечер... А священник уже был? Или надо потишь прятать?

– Был и уехал.

Лицо Шона было хмуро, вокруг рта и глаз залегли суровые складки. Набив мозолистыми пальцами глиняную трубку, он обратился к Норе слова соболезнования.

– Спаси тебя Господь, Шон.

– Там к тебе гостя появилась, прячется, – сказал Шон, закуривая от кем-то протянутой ему в щипцах головешки. – Помилуй, Господи, души грешников усопших... – Стиснув зубы, он выпустил дым между ними. – Травница эта, ведунья. Стоит у навозной кучи, ждет.

– Нэнс Роух? – не сразу отозвалась Нора.

– Она. Каждой бочке затычка. – Он сплюнул на пол.

– Да как узнала-то она?

Шон нахмурился:

– Вот уж с кем не стал бы разговаривать, даже останься она единственной бабой на всем белом свете.

Кейт с тревогой взглянула на мужа.

– Нэнс Роух? Она же повитуха, разве нет? – спросила Бриджид.

– Ума не приложу, что ей понадобилось, – пробормотала Нора. – Путь не близкий для старухи, да еще в такую ночь, когда дождь как из ведра. Врагу не пожелаешь, собаку за дверь не выпустишь!

– Рыщет, где бы ее трубочкой угостили да и выпить дали, – процедила Кейт.

Ноздри ее раздувались.

– Не ходи к ней, Нора. К этой калях[З - Каля?х – карга, ведьма (ирл. cailleach).] –
мошеннице!

* * *

К ночи дождь разошелся не на шутку. Нора толкнула дощатую дверь и стала
вглядываться в темноту двора, стараясь не высовывать головы из-под низкого
ската крыши. С соломенной кровли потоком лилась вода. Поначалу за этой
сплошной стеной дождя она ничего не могла различить, кроме узкой серой
полоски на горизонте, там, где тучи еще не поглотили свет. Затем краем глаза
она увидела, как от угла дома, где под торцевой стеной лежала куча навоза,
движется фигура. Нора ступила во двор, прикрыв за собой дверь, чтобы не
выхолаживать дом. Ноги тут же облепила грязь.

– Кто там? – спросила Нора. Голос ее утонул в громовом раскате. – Это ты, Нэнс
Роух?

Гостья приблизилась к двери. Сунув голову под крышу, она стянула капюшон,
приоткрыв лицо.

– Да, это я, Нора Лихи.

Молния осветила небо, и Нора увидела перед собой старуху. Женщина вымокла
до костей, белые волосы облепили череп. Нэнс смаргивала падавшие со лба
дождевые капли и шмыгала носом. Маленькая, сморщенная, с лицом
скукоженным, как забытое осенью на ветвях яблоко. Из-под набрякших век
глядели на Нору помутневшие от старости глаза.

– Сочувствую твоему горю.

– Спасибо, Нэнс.

– Конец земных печалей для Мартина.

– Да, это так.

– Теперь муж твой на пути истинном. – Губы Нэнс раздвинулись, обнажив редкие остававшиеся зубы. – Пришла узнать, не возьмешь ли меня плакальщицей. Твой Мартин был хорошим человеком.

Нора глядела на стоявшую перед ней мокрую насквозь Нэнс. Одежда свисала с ссошихся узких плеч, с суконных отрепьев капала вода, но держалась старуха с достоинством. Пахло от нее горьковато-остро. Мятой крапивой, подумала Нора. Или опавшей листвой. Так пахнут те, кто живет под пологом леса.

– Как ты догадалась прийти-то? – спросила Нора.

– Встретила нового священника на осле, настегивает животину, точно пыль выбивает. В такую слякоть разве что сам дьявол выгонит священника из дома. Или если кто при смерти лежит.

– Отец Хили, так его зовут.

– И мне открылось, что это муж твой Мартин. Упокой Господь его душу, – добавила женщина.

По спине у Норы пробежал холодок. Гроыхнул гром.

– Открылось?

Нэнс кивнула и коснулась Норы. Пальцы ее были холодными и на удивление мягкими и гладкими.

Руки целительницы, подумала Нора.

– И ты отправилась пешком в такой ветер и дождь?

– Промыть дождичком голову никому еще не навредило, а для твоего мужа я бы и не то сделала.

Нора распахнула дверь, стряхивая с ног налипшую грязь.

– Что ж, заходи, коли пришла.

Когда вслед за Норой в битком набитой зале показалась Нэнс, все разговоры мгновенно смолкли. Все взгляды устремились к старшей из вошедших, которая, приостановившись в дверях и высоко подняв голову, озиралась вокруг.

– Спаси вас всех Господь, – сказала она.

Голос ее был слабым и хриплым от курева и прожитых лет. Мужчины почтительно склонили головы. Кое-кто из женщин придирчиво мерил взглядом старуху, примечая и испачканный грязью подол юбки, и пожухшее, потемневшее от старости лицо, и мокрый платок. Шон Лич сверкнул исподлобья глазами и отвернулся к огню.

Поднялся Джон О’Донохью, заполнив все пространство своим могучим телом кузнеца.

– И тебя да спасет Он, Нэнс Роух.

Он повел ее к огню, и мужчины поспешно потеснились, уступая место. Питер, не вынимая трубки изо рта, подвинул низкую скамеечку и усадил старуху поближе к очагу. Аня принесла ей воды – омыть ноги. Дэниел предложил Нэнс глотнуть потина и, когда она мотнула головой, пробормотал: «Да чего там разговору, всего капелька, воробышек в клювике больше унесет» – и сунул-таки ей в руки кружку.

Те, кто, увидев Нэнс, словно онемели, теперь, поняв, что старуху не прогнали, возобновили беседу. Лишь Шон и Кейт Линч, отступив подальше в темный угол и нахохлившись, наблюдали оттуда за происходящим.

Нэнс, протянув к огню голые ступни, попивала спиртное. А Нора, сидя рядом с ней и глядя на пар, поднимающийся от плеч старухи, чувствовала, как в животе все сильнее, все шире раскручивается спираль ужаса. Как узнала она, что Мартин умер?

Старуха глубоко вздохнула, поднялась и жестом указала на спальню:

– Там он?

– Там, – ответила Нора. Сердце ее трепыхалось.

Нэнс сжала в руках кружку.

– Когда исполнился его срок?

– Питер и Джон принесли его ко мне еще засветло. До вечера еще. – Нора не поднимала глаз. После ночной свежести духота в доме казалась нестерпимой и вызывала дурноту. Слишком много трубочного дыма. И шуму тоже чересчур много. Хотелось поскорее выйти, улечься в мягкую скользкую грязь и лежать там в одиночестве, вдыхая запах дождя. И пускай молния убьет ее своим ударом.

Нора почувствовала, как ладонь обхватили пальцы Нэнс. Так нежно, что стало не по себе. Она удержалась, чтобы не оттолкнуть старуху.

– Нора Лихи... Ты меня послушай, – зашептала Нэнс. – По каждому покойнику на земле горюет какая-нибудь женщина. Горюет в одиночку, и каждая по-своему. Но горе еще и в том, что не пройдет и года после похорон, и людям станет не нужно твое горе. Так уж ведется на белом свете. Люди вернутся к своим делам и заботам, к мыслям о себе. Заживут своей жизнью. Так что давай плакать по Мартину сейчас, пока они слушают. Пока им хватает терпения слушать.

Нора кивнула. К горлу подкатила рвота.

– И еще скажи мне, Нора, что это за толки, будто помер он на перепутье, на скрещенье дорог? Это правда?

– Да, так и есть, – отозвалась Бриджид. Она крошила табак за их спинами. – Питер О’Коннор там его нашел. Вот горе-то горькое!

Нэнс обернулась, прищурилась, вглядываясь:

– А ты кто такая есть?

– Бриджид Линч.

– Жена моего племянника Дэниела, – пояснила Нора.

Нэнс сдвинула брови:

– Ты ребенка ждешь, молодайка. Не место тебе в доме, где покойник лежит.

Занесенная над плитками табака рука Бриджид замерла в воздухе.

– Тебе дозволено уйти. Прежде чем вдохнешь в себя смерть и заразишь ею дитя.

– Разве? – Бриджид уронила на стол ножик. – Я знала про то, что на кладбище нельзя, но что...

– Что кладбище, что дом, где покойник лежит, что могильный холм... – Нэнс сплюнула в огонь.

Бриджид повернулась к Норе, ища поддержки.

– Но я не оставлю Дэниела, – зашептала она. – Не стану выходить в такую темень! И в грозу! Не пойду одна.

– И не надо, – покачала головой Нэнс. – Ни к чему тебе одной идти. В такую беспокойную ночь.

Бриджид прижала обе руки к животу.

Нэнс кивком подозвала к себе Анью, раздававшую мужчинам набитые табаком трубки.

– Аня О’Донохью, не проводишь ли девушку к кому-нибудь по соседству: и мужа ее прихвати; чтоб потом вернулся с тобой. В такую ночь ни одной живой душе не стоит выходить на дорогу одной.

– Отведи ее к Пег О’Шей, – негромко сказала Нора. – Она ближе всех живет.

Аня переводила взгляд со старухи на Нору:

– Да что такое? В чем дело-то?

– Это ради молодайкина ребенка. – Протянув сморщенную руку, Нэнс положила ее на живот Бриджид. – Поторопись, девочка. Сыпани соли в карман и уходи. Гроза разыгралась не на шутку.

* * *

К полночи от запаха мокрой шерсти и людского пота в доме стало не продохнуть. На веках Мартина Лихи блестели теперь положенные соседом две однопенсовые монетки, на грудь мертвецу поставили блюдо с табаком и мать-и-мачехой. Дым поднимался столбом, мужчины то затягивались, то чистили трубки Нориными спицами, которые вытирали потом о штаны.

С приближением полночи Джон О’Донохью принялся читать розарий над покойником, а все собравшиеся, встав на колени, вторили, отвечая ему. Потом мужчины расступились и, подперев стены, стали глядеть, как при тусклом свете лучины женщины голосят по покойнику. Лучины воняли салом и слишком быстро сгорали в латунных светцах.

Нэнс Роух выводила плач под далекие раскаты грома. Лоб ее был серым от пепла, руки – испачканы золой, которою она, достав из очага, мазала лоб другим женщинам. Нора Лихи чувствовала, как корку золы разрывают горячие борозды от слез. Стоя на коленях на земляном полу, Нора вглядывалась в знакомые, скорбно нахмуренные лица.

Как в кошмарном сне, думала она.

Закрыв глаза и разомкнув губы, Нэнс завела низкий плач, мгновенно погасивший все разговоры и пересуды мужчин – так гаснет пламя в комнате, где нет воздуха. Старуха сидела на корточках, раскачиваясь взад-вперед, растрепанные жидкие космы мотались по плечам. Она вопила непрерывно, без слов, утробным,

исполненным ужаса голосом. Словно кричала банши, словно судорожно хватал воздух утопающий.

Пока Нэнс голосила, другие женщины бормотали молитвы, дабы Господь принял с миром душу Мартина Лихи. Нора разглядывала женщин: вот Кейт Линч, чьи каштановые волосы в полумраке кажутся тускло-серыми, рядом шепчет молитвы ее дочь Сорха, круглолицая с ямочками на щеках; жена учителя усердно крестится, словно целиком уйдя в молитву, но одним глазом косится на Нэнс, глядит, как та копошится у очага. Здесь соседки Норы и дочери соседок, чуть ли не все обитательницы долины горестно заламывают руки. Нора зажмурилась. Никому из них не понять, каково ей сейчас. Никому.

Как страшна эта безъязыкость, эта мучительная невозможность сказать, тоска утопающего. Открыв рот, Нора завывала, и горе, вдруг обретшее голос, испугала ее самоё.

Многих из собравшихся кыне[4 - Кыне – похоронный плач (ирл. caoineadh).] растрогало до слез. Понурившись, свесив не просохшие еще от дождя головы, они вспоминали Мартина. И с многословием, происходящим от потиня, на все лады расхваливали его, перечисляя добродетели покойного, человеческие и христианские. Каким прекрасным отцом он был для дочери, скончавшейся всего несколько месяцев назад. Каким достойным мужем. И кости-то он умел вправлять, и понесших лошадей останавливать – ручищи свои раскинет, лошадь тут же и встала!

Стенанья Нэнс стихли, перейдя в прерывистые вздохи. Ухватив вдруг горсть золы, она метнулась в сторону двери и швырнула золу в темноту. Отгони, пепел, Тех, что мешают душе лететь в мир иной. Освяти, пепел, горе родни и друзей.

Посреди общей молитвы Нэнс вдруг уронила голову на колени, юбками стерла с лица золу и поднялась с пола.

Обряд был окончен. Подождав, пока шепот и выкрики перейдут в благоговейную тишину, Нэнс кивнула укрывшейся в темном углу Норе. Потом завязала узлом на затылке волосы и, приняв предложенную ей глиняную трубку, весь остаток бдения просидела молча и задумчиво, куря и разглядывая скорбящих, мужчин и женщин, вившихся вокруг Норы, как вьются птицы над только что сжатым полем.

* * *

Ночь шла своим чередом, тяжелой поступью давя час за часом. Умиротворенные и слегка одурманенные запахом тлеющей мать-и-мачехи, люди укладывались спать на полу, на пухлых подстилках из вереска и камыша, бормоча молитвы. Дождь добрался до дымохода и с шипением загасил огонь в очаге. Лишь несколько самых стойких прогоняли сон рассказами и сплетнями; они по очереди подходили к телу, с молитвами, а отойдя, толковали о том, что гроза, обрушившаяся на долину, не к добру. Одна только Нора видела, как старуха поднялась в своем углу и, опять накинув на голову капюшон, скрылась в воющем ветренном мраке.

Глава 2

Дрок

Нэнс Роух проснулась очень рано, прежде, чем рассеялся туман над горами. Спала она одетой, в той же одежде, в какой вернулась домой, и сырость теперь пробирала до костей. Выбираясь из своей вересковой постели, Нэнс щурилась, принаравливая зрение к тусклому свету и потирая застывшие от холода руки и ноги. Огонь погас – протянутая к очагу рука едва ощутила намек на тепло. Должно быть, ее разморило, она заснула и упустила угли.

Сняв с крюка на стене платок, она закуталась в грубую, пахнущую дымом шерсть, и, прихватив ведро, вышла.

* * *

Всю ночь гроза хлестала дождем долину, и с деревьев перелеска позади приземистой избушки капала вода. Все заволкло густым туманом, но уже от дома ее, что стоял на самом дальнем краю долины, там, где к полям и каменистым склонам подступают лесные дебри, было слышно, как рокошет вздувшийся Флеск. Неподалеку от избенки Нэнс находилась Дударева Могила – урочище фэйри, и старуха с почтением поклонилась корявому кусту

боярышника, выплывшему, как призрак, из тумана, в окружении вереска, камней и высокой травы.

Нэнс плотнее завернулась в платок, скрипя суставами, спустилась к мокрой канаве, в которую превратилась рухнувшая барсучья нора, присела на корточки по нужде, – зажмурившись и уцепившись за папоротник. Все тело ныло. Это бывает после таких ночных бдений. Стоит, поголосив, выйти от покойника, и голову обручем охватывает пульсирующая боль.

Такая боль – заемная, думала Нэнс. Пограничье между жизнью и смертью тяготит тело и измощдает мозг.

Спуск к реке был скользким и грязным, и Нэнс ступала осторожно, к босым ногам ее, когда она пробиралась сквозь кустарник, налипли мокрые листья. Не хватало еще упасть. Только прошлой зимой она поскользнулась и повредила спину. И провела неделю в своей лачуге перед очагом, мучаясь от боли, а куда больше – от одиночества. А ведь привыкла, казалось бы, жить одна, в компании разве что птиц, порхающих с ветки на ветку. Но без навевывавшихся к ней людей, без дел, иных, кроме сидения в полумраке хижины, она чуть не плакала от одиночества.

«Если что и может загонять болезнь в самое нутро, так это одиночество».

Это сказала ей Шалая Мэгги. Давным-давно сказала, когда Нэнс была молодой. Когда еще жив был ее отец.

«Ты меня слушай, Нэнс. Вот прошел человек. Ни жены у него нет, ни брата, ни сестры. Друзей – раз-два и обчелся. Одна только подагра всегда при нем. А уйти-то подагре этой не дает его одиночество!»

Мэгги сидит в их хижине. Не выпуская изо рта трубки, ощипывает курицу. Перья так и летят во все стороны. За окном барабанит дождь. В густых всклокоченных волосах Мэгги застряли перья.

То падение – упреждающий знак, решила Нэнс. Ты старая. Положиться можешь только на себя. И с тех пор стала она беречь свое тело, ласково его обихаживать... Осторожно ходить по скользкому в сырую погоду. Не лезть на гору за вереском, когда завывает ветер. Опасалась она и падающих из очага горящих углей. Орудую ножом, боялась порезаться.

С приближением к реке рокот усилился. И вот уже показалась белая пена кипящего потока, сверкающего между прибрежных деревьев – дубов, ольх и ясеней. Непогода сорвала с них последние листья, и лес чернел голой мокрой корой. Только стволы берез лунно поблескивали в сырой черноте.

Нэнс осторожно нашаривала путь, обходя устилавшие землю сломанные сучья, заросли плюща и засохшего папоротника. Сюда, на этот край долины, люди забредали не часто. Женщины не ходили сюда за водой, не стирали белье в верховьях из-за близости этих мест к Дударевой Могиле – тайному прибежищу фэйри. Всюду здесь царили дикость и запустение. Никто не счищал мха с камней, никто не срезал веток с разросшихся у воды кустов, чтобы не зацепили белье. Одна только Нэнс спускалась сейчас к реке. Одна только Нэнс не боялась жить так близко к лесу – хозяину этого побережья.

Гроза взбаламутила реку, и Нэнс видела, что валуны, по которым прежде можно было, не страшась, спускаться к воде, теперь сдвинуты половодьем. Подмытый берег сыпался под ногами. Река в этом месте не отличалась шириной и глубиной, но, когда вода прибывала, течение становилось мощным, и Нэнс видела, как жирела река на трупах лисиц с раздутым брюхом, вымытых из нор яростными ливнями. Не утонуть бы.

Сняв платок и повесив его на низкую ветку, Нэнс присела на корточки и постаралась как можно ближе подобраться к воде. Она наклонила ведро, и вода так и хлынула в него, потянув Нэнс за руку.

Счищая с юбок грязь и стряхивая налипшие на них мокрые листья, Нэнс плелась назад в свою избушку; вместе с листьями хотелось стряхнуть с себя одурь, вернуть мыслям ясность. Стремительные вьюрки шныряли туда-сюда; выныривая из предвещавшего утренний свет тумана, они пикировали в траву и заросли ежевики, чтобы опять подняться в воздух. На подгнившей древесине подлеска красовались раковины грибов. Запах влаги и мокрой земли был вездесущ и проникал повсюду. Как же любила Нэнс эти утренние прогулки на вольном воздухе! Ее приземистая, вросшая в землю лачуга, маячившая возле самой кромки леса, со стенами из обмазанных глиной ивовых прутьев и крышей, крытой картофельной ботвой вперемешку с вереском, – каким уродством и убожеством кажется это все в сравнении с напитанной влагой древесной сенью! Приостановившись, Нэнс обернулась и обратила взгляд назад, в сторону долины. Перед ней на извилистых склонах белели крестьянские домишки, разбросанные

там и сям между возделанных полей, сейчас сжатых и бурующихся стерней, между клочков картофельных делянок и полуразрушенных каменных оград. Сквозь редяющий туман Нэнс различала дымки над крышами. На голых горных скатах домики кажутся меньше, словно они вросли в землю поглубже, чтобы не унесло ветром.

В утренней мгле белены стены выглядят голубыми. Нэнс перевела взгляд туда, где повыше на склоне примостилась хижина Лихи. Для Нэнс это было ближайшее жилье, но даже и оно казалась таким далеким.

Из соседей ни до кого ей не докричаться. Ее лачужка без окон прежде тоже была белой, как и у всех прочих, но с годами облупилась, поросла зеленым мхом и плесенью и выглядела теперь так, словно лес присвоил себе и ее, наложив и на дом Нэнс свою зеленую лапу.

Но по крайней мере внутри дома она, насколько может, соблюдает чистоту, если не глядеть, конечно, на потолок, который лоснится от толстого слоя сажи, и в отсыревший угол хижины. Зато земляной пол всегда выметен и гладок, а вереск и камыши перебивают прелый дух сена на той стороне, где содержится на привязи ее коза.

Нэнс поворошила угли в очаге, чтобы разгорелось пламя, и поставила воду оттаиваться. Гроза взбаламутила реку, и пить эту воду сейчас неже.

Никогда еще плач по покойнику так ее не изматывал. Кости сковало холодом от усталости. Надо съесть чего-нибудь, подкрепиться.

Накануне зов смерти она ощущала сильно, как надо. Измазав пеплом лицо, она почувствовала, будто мир вокруг содрогнулся, раскалываясь на части. Она забыла обо всем и всецело отдалась плачу, исторгающемуся из глубины легких. Голова кружилась, и одетые в черное мужчины и женщины тоже закружились перед ее глазами, а потом слились, превратившись в огонь и в сотканные из дыма образы: горящий в лесу дуб; река с дикими ирисами по берегам, вся желтая, как желток. А потом и ее мать – простоволосая, глаза горят, манит ее во тьму. Нэнс казалось, будто она оплакивает весь мир.

Сталкиваясь с горем, Нэнс порой обретала способность провидеть. Мэгги называла это внутренним зрением. Особым знанием. Случалось, принимая

младенцев, вводя их в этот мир, она прозревала, какая жизнь их ожидает. И видела, бывало, вещи пугающие. Помнится, приняла она ребеночка у женщины, которая в родах, от страха и боли, прокляла свое дитя, и Нэнс почувствовала, как словно бы темная завеса опустилась над младенцем. Нэнс вымыла и запеленала новорожденного, а позже, когда мать заснула, ручкой его раздавила гусеницу, чтоб защитить ребенка от проклятия.

На иные видения есть управа, и Нэнс она ведома.

Прошлой ночью гроза ее растревожила. Спускаясь с горы от хижины Лихи, когда небо так и полыхало молниями, она ощутила нечто. Какое-то шевеление. Зов. Предупреждение. Застыв возле урочища фэйри, она ждала под дождем, грудь терзало предчувствие чего-то скверного, и тут боярышник согнуло ветром, а камень могильника полыхнул пламенем. Казалось, вот сейчас сам дьявол выступит из леса, что за ее лачугой. Обычно Нэнс не боялась одна возвращаться из дома, где лежит покойник. Она знала, как уберечь тело и душу с помощью пепла и соли. Но прошлой ночью, ожидая возле Дударевой Могилы, она чувствовала, что против того невидимого, что зыбится там во мраке, ей не уберечься. Лишь увидев, что аккуратно возле ее лачуги молния ударила в склон и подожгла вереск, она припустила скорее домой, к огню в очаге и живому теплу домашней скотины.

Нэнс глянула на козу, нетерпеливо переступавшую в углу возле наседок. В глиняном полу был вырыт сточный желоб, отделявший жилье Нэнс от скотины и ее помета, но не мешавший теплу свободно распространяться по всему помещению. Переступив грязный и замусоренный ручеек, Нэнс ласково потрепала козу по морде, пригладив шерсть, и вычесала солому из ее бороды.

– Ты молодчина, Мора. Ей-богу, ты просто молодчина.

Нэнс придвинула стоявшую у стены скамеечку и бросила рядом с козой охапку мягого дрока.

– Проголодалась? Такой ветрище был, слышала? Напугалась небось?

Воркуя с козой, Нэнс медленно потянулась за жестяным подойником. Уперев лоб в жесткий бок животного, она вдохнула теплый запах сухого утесника и навоза. Мора разыгралась: с глухим стуком топотала она копытами по прибитой земле и

сену, но Нэнс все мурлыкала, пока коза не уgomонилась и не стала щипать корм. Тогда Нэнс взялась за ее соски и подоила козу, тихонько напевая севшим после давешнего бдения голосом.

Когда струя из вымени иссякла, Нэнс вытерла руки о юбку и подняла подойник. В дверях она чуть наклонила его, плеснув молоком на порог – угостить добрых соседей, после чего и сама попила молока – сладкого, теплого, с крошками грязи от ее рук, – прямо из подойника.

Сегодня она никому не понадобится, Нэнс это знала. Жители долины валом повалят к Лихи, в знак уважения к покойнику, а к ней в такую пору люди наведываются нечасто... Слишком ясно она напоминает им, что и они смертны.

Плакальщица. Работница. Мастерца на все руки. Повитуха. Стоит ей рот открыть, и людям сразу вспоминается, как все пошло прахом, что было и что стало. Вот смотрят они на седые ее волосы и видят в них сумрак. Ведь это она приводит младенцев в надежную земную гавань, и она же снимает суда с якореЙ и отправляет во мрак.

Нэнс знала, что единственной причиной, по которой ей дозволено вот уж двадцать лет с лишком жить в этой сырой лачуге, примостившейся между горой, рекою и лесом, было ее занятие – непонятное людям и недоступное разумению.

Она была привратницей у последних врат, последним человеческим голосом, после которого лишь ветер, и тени, и странные потрескивания звезд. Языческим хором. Додревней песнью.

Люди всегда побаиваются того, что не очень понимают, думала Нэнс.

Согретая и уболаговоренная выпитым молоком, она вытерла рукавом рот и, встав в дверной раме, оглядела окрестность. Тучи сбились в грязно-серые ошметки, но Нэнс знала, что день будет погожим и ясным. Она выпится, отдохнет, а потом, может быть после полудня, побродит неспешно в дневной тиши по тропам и вдоль канав, пособирает запоздалые соцветия тысячелистника и крестовника, последние ягоды ежевики и терна – стоит запастись всем этим, пока зима не сковала мир льдом. Ну а не пролитые из туч дождевые капли прольются за горами еще до рассвета.

Нэнс привыкла во всех своих делах сверяться с небом. Изменчивые лики его она успела изучить.

* * *

Бдение и поминки длились целых два дня, во время которых народ успел проторить к горной хижине Норы скользкую от грязи тропинку, по которой все шли и шли, некоторые – с крепко зажатыми в руках бутылками виски, с четками в карманах и табуреткой или грубым стулом с плетеным сиденьем из сугана.[5 - Су?ган – соломенная нить (ирл. s?gan).] На второй день дождь опять вернулся в долину. С картузов и фетровых шляп мужчин текла вода. Прихватив из дома остывшие угли и ореховые прутья, они усаживались на кучки хвороста и резаного камыша. Воздух в доме покойного был сизым, и люди кашляли от горевших светильников и раскуренных трубок. Стоя на коленях, они молились о Мартине, касаясь покрытого простыней тела. Не привыкшие к курению трубки женщины и дети, кашляя, выдыхали дым и обкуривали покойного, скрадывая поднимающийся густой дух смерти.

Нора не могла дождаться их ухода. Ей опротивело присутствие этих людей, опротивели скрип камыша под их ногами и то, как, рассевшись, они говорили о Мартине, будто знали его лучше всех.

Я его жена, хотелось ей крикнуть им в лицо. Вы не знаете его так, как знала я!

Невыносимо было это мельтешение теней на стенах, мелькание женщин, двигавшихся бесшумно, как привидения, то, как, собравшись в тесный кружок, они сплетничали, а потом, разойдясь по углам, начинали рассуждать о скоротечности времени, о вере и Боге. Ей ненавистны были бесконечные сетования мужчин на этот проклятый октябрьский дождь и претило, когда поднимали они кружки со своим пойлом в сторону Мартина, бормоча: «Да помилует Господь душу твою, Лихи, и души всех праведных усопших!» – а потом, не медля ни секунды, возвращались к прерванным разговорам, смешкам и похохатываньям.

Лишь когда дождь ненадолго перестал, Нора смогла выбраться из хижины на задний двор и, жадно глотая свежий воздух, выплакаться и немного успокоиться. Потом, смочив ладони о мокрую траву возле навозной кучи, она вытерла ими лицо и, помедлив, стала смотреть, как на дворе дети играют с

камнями. Измазанные по щиколотку в грязи, с глазами горящими восторгом игры, они складывали пирамиду из камней, а затем по очереди пуляли по ней камнями, разрушая. Даже робкие девочки не утерпели: разбившись на пары, они играли в «болванку» – одна складывала ладони вместе, как для молитвы, другая же тихонько поглаживала ей пальцы, приговаривая: «Мурка, мурка, бедная мурка...» – и вдруг неожиданно, с силой ударяла ее по рукам. Эти шлепки вперемешку с криками боли и восторга далеко разносились по долине.

Нора глядела на играющую детвору и чувствовала комок в горле. Вот так бы играл и Михял, если бы не болезнь, подумала она, и волна горя, внезапно накатив, затопила ее, и стало трудно дышать.

Все было бы иначе, будь он здоров, думала она. Был бы мне он утешением...

Кто-то потянул ее за юбку, и Нора, опустив взгляд, увидела мальчика лет четырех, не больше; улыбаясь, он протягивал ей яйцо.

– Вот, я нашел, – и с этими словами ребенок передал яйцо Норе и тут же, круто развернувшись, бросился прочь, разбрасывая комья грязи босыми пятками. Нора глядела ему вслед. Вот таким и должен быть ребенок, подумала она, и перед глазами возникла картина: Мартин, сидя у огня, держит на коленях Михяла и растирает ему ноги, пытаясь вернуть им жизнь, а веки мальчика смыкаются от ласковых прикосновений дедовых рук.

Поспешно сморгнув навернувшиеся слезы, Нора стала смотреть вдаль.

Завеса дождя медленно перемещалась над дальней грядой гор, за речной низиной и полоской леса на восточном скате. Не считая ясеновой рощицы вокруг белых домиков, что раскиданы по луговой части долины, и зарослей дуба и ольхи за замшелым боханом[б - Боха?н – глинобитная хижина (ирл. bothan).] Нэнс Роух вдали, перед глазами Норы сплошь расстилались поля, окаймленные низкими каменными оградами и канавами, а дальше – либо болота, либо каменистые холмы, где только вереск и дрок и могли произрастать среди скал.

Даже вид низких, грозящих дождями туч действовал на Нору умиротворяюще. Долина была прекрасна. Неспешный поворот к зиме покрыл стерню и луговые травы бронзовым налетом, и бегущие тучи пятнали землю тенями. Это был замкнутый, сокрытый от всех мир. Только узкая дорога, вьющаяся по дну долины

и уходящая на запад, свидетельствовала, что там, за горами, есть другой мир, полный высоких зданий и медных рудников, тесных, с попрошайками на каждом углу, улиц Килларни, ошестинившихся домами под сланцевыми крышами; на восток эта же дорога вела к отдаленным рынкам Корка. Лишь редкий торговец, направлявшийся в сторону Макрума с бочонками масла, притороченными к бокам лошадей, мог вызвать подозрение, что существуют другие долины и другие города, где живут совсем другой жизнью.

Взрыв детского смеха резко вырвал Нору из состояния мечтательной задумчивости. Повернувшись, она увидела старуху, ковылявшую по кочкам от соседней с Норой хижины на холме; старуха тяжело опиралась на терновую клюку.

Пег О'Шей.

Войдя во двор, соседка улыбнулась детям, затем, встретившись глазами с Норой, шаркающей походкой направилась к ней.

– Нора... Сочувствую тебе в твоём горе. – Щеки женщины ввалились от старости, беззубый рот запал. Однако черные бусинки глаз были по-птичьи живыми и блестящими. Нора чувствовала, как они шарят по ней – сначала вгляделись в лицо, потом смерили её всю.

– Спаси тебя Господь и мать его, Пег. Спасибо, что взяла Михяла.

– Мне это вовсе не составило труда.

– Не хотелось, чтоб он оставался здесь. В доме полно народу. Я решила... решила, что он может испугаться.

Пег промолчала и только поджала губы.

– Мы с Мартином думали, что будет лучше беречь его от многолюдья. Чтоб жил себе тихо-спокойно с нами.

– Ну да, может, так и лучше.

– Кто приглядывает-то за ним?

– О, в доме и мои дети, и их малыши. Одним ребенком больше, чего уж там. И то сказать, из дома ведь он не уйдет... – Она придвинулась поближе: – А я и не знала, что дело так плохо... И вот уж который месяц ты его нянчишь...

– Мы с Мартином оба нянчили. По очереди – один с ребенком, другой работает.

– А годков-то ему сколько, Нора?

– Четыре.

– Четыре. А не говорит. Прямо как младенец в колыбели.

Нора потупилась, уставившись на яйцо, которое дал ей мальчик.

– Это хворь на него нашла.

Пег молчала.

– Раньше он мог говорить. Я слышала, как он говорит. Когда Джоанна жива была.

– И ходить он тогда тоже мог?

Нора почувствовала дурноту. Не в силах ответить, она лишь покачала головой, и Пег положила руку ей на плечо:

– Похоже, опять дождь будет. Давай зайдем в дом, а то кости ноют. Я поздороваюсь, окажу уважение.

Торф в очаге так и пылал, и громкая беседа шла полным ходом. Из-за угла доносился смех.

– М-м... – Темные глазки Пег быстро оглядели собравшихся. – Кто выпивку-то принес?

– Все больше Шон Линч, – ответила Нора.

Пег вскинула брови.

– Да знаю я. Я и сама не ожидала. Человек-то не из щедрых.

– Если на что и щедр этот человек, то только на тумачи. – С хитрым видом Пег покосилась туда, где в кучке женщин сидела и ковыряла в зубах Кейт. – Шон Линч вошь освежевать сумеет и шкурку ее продать на рынке вместе с жиром. С чего бы это он так расщедрился?

Нора пожала плечами:

– Он же нам родня. Ты разве забыла, что моя сестра за его брата вышла? Упокой Господи души обоих.

Пег шмыгнула носом.

– Ей-богу, он чего-то задумал. Я бы с ним ухо держала востро. С чем-то он к тебе подлезет, Нора, что-нибудь у тебя попросит теперь, когда Мартина нет больше. Человек этот всему цену знает и ничем не дорожит.

Они поглядели в ту сторону, где у огня сидел и курил Шон.

– Уж поверь мне, Нора. Старая метла все темные углы знает.

* * *

Хоронили Мартина на завтра, тусклым, бесцветным днем. Грубо сколоченный гроб несли на плечах его племянники и друзья, помогали им, по очереди подхватывая ящик, и другие мужчины, жители долины, сопровождавшие гроб. Знакомый путь на кладбище был долгим, и процессия двигалась медленно. Дорогу развезло от дождей, мужчины ступали осторожно, чтобы не потерять обувь в чавкающей грязи. Следом за ними шли женщины, оглашая воплями осенний, колючий от мороза воздух. Все они знали, как полагается предавать тело земле.

Нора потуже натянула платок на голову. Невыносимо было смотреть на гроб, покачивающийся над головами, и она переводила взгляд на птиц, круживших над редкими ветвями. Нора чувствовала себя странно спокойной, слез не было, и, идя прямо по лужам, в которых сверкало небо, она думала, не умерло ли что-то и в ней самой. Горестные причитания женщин вокруг казались смешными, как и сами они, в облепивших ноги мокрых юбках. Одна Нора молчала, прикусив язык, горе лежало в ней безмолвным холодным камнем.

Зрелище похорон привлекало и обитателей хижин, расположенных вдоль дороги. Дети, сунув палец в рот, глазели на процессию. Мужчины, пасшие своих свиней поблизости, присоединялись к шедшим за гробом, затем, пройдя с ними несколько шагов, отступали на обочину и почтительно выжидали, пока процессия не скроется из глаз, прежде чем стегануть свинью хворостиной.

Нора шла, задрав голову и глядя вверх, позволяя толпе как бы нести ее. Над вершинами кружили орлы.

Кладбище, притулившееся к маленькой часовне в тени старого тисового дерева, все заросло зеленой травой. Мужчины спотыкались о кочки, а затем бережно опустили гроб возле ожидавшей его заранее вырытой ямы. Отец Хили уже ждал их, рассеянный, сутулый, как и подобает грамотею. Когда его взгляд уперся в Нору, она натянула платок ниже на лоб и опустила глаза.

Служба была краткой. Священник читал молитвы отрывисто, запинаясь, и стоявшая на коленях Нора чувствовала сквозь юбки мокрую землю. Она смотрела, как опускают ее мужа в могилу, как могильщики укладывают дерн на крышку гроба, чтоб не с таким стуком падали потом комья земли.

Когда все было кончено, все слова иссякли и жесткая черная земля долины наполнила яму, провожавшие воткнули в могильный холмик свои глиняные трубки и пустились в обратный путь. Спускаясь с откоса обратно в долину, Нора обернулась и окинула взглядом кладбище. Издали черенки трубок выглядели кучкой хрупких костей, исклеванных птицами.

* * *

Ветер поднялся, когда Нора шла по дороге, возвращаясь с похорон. Шла она вначале в толпе, затем, по мере того как люди сворачивали к своим домам, – в редющей молчаливой горстке соседей. К тому времени, как, миновав ясеневую рощицу и с трудом пробираясь по грязи, она начала трудный подъем к себе на холм, вокруг не осталось никого: только ветер яростно атаковал вершины, грозясь обрушить утесы вниз в долину. Затем стеганул сильный ливень, а ноющая боль в коленях предвещала новую грозу.

Еще на подходе к дому Нора услышала громкий плач Михяла. Дверь была приоткрыта, и, едва войдя, она заметила, что дом прибран и от поминок не осталось и следа. Пол был застлан свежей камышовой подстилкой, огонь в очаге ярко горел, и возле огня сидела Пег О'Шей; она посмеивалась над Бриджид, вздрагивавшей от пронзительных воплей ребенка. «Пора привыкать понемножку», – приговаривала Пег, качая красного от натуги и гнева мальчишку. При виде вошедшей Норы улыбка ее погасла.

– Схоронили, стало быть, Мартина.

Нора тяжело опустилась на лавку рядом с Бриджид: наконец-то все разошлись!

– И народу на похороны много собралось. Слава богу, это хорошо. Поближе к огню садись. А не то продрогнешь.

Нора приняла на руки Михяла и прижалась щекой к его макушке. Руки ощутили его тяжесть, а кожа – прерывистый, захлебывающийся крик. Накатила усталость, босые пальцы свело от холода.

Пег внимательно наблюдала за ней.

– В детях-то утешение...

Нора закрыла глаза и уткнулась лицом в хрупкую шейку Михяла. Он закричал с новой силой, напрягаясь всей грудью.

– Спасибо, что нянчилась с ним.

– Да хватит, не стоит об этом. Я молилась за тебя, Нора. Видит Бог, какой тяжкий для тебя год нынче выдался.

Нора выпустила Михяла из объятий и уложила себе на колени. По лицу ее струились слезы. Она принялась растирать руки и ноги мальчика, как это делал Мартин, распрямляя и отводя назад согнутые кисти, гладя твердые и прямые, как кочерга, пальцы. Под ее руками он затих, и на секунду ей показалось, что мальчик внимательно глядит на нее. Его зрачки, такие темные на голубом фоне, словно встретились с ее зрачками. Сердце Норы дрогнуло. Но в следующий миг взгляд ребенка скользнул прочь, и опять начался вой, а руки Михяла опять скрючились.

Нора бросила растиранье и застыла, уставившись в одну точку. Как удар, пришло воспоминание: Мартин на могучих своих руках держит Михяла и с ложки кормит его сливками.

Как же ты мог оставить меня одну с этим ребенком, думала она.

Сидевшая у очага Пег потянулась к ней рукой и погладила Михяла по голове.

– Масть точь-в-точь как у Джоанны.

Бриджид покосилась на Нору.

– Знаю, для тебя это была большая потеря, – продолжала Пег. – Is e do mhac do mhac bposann se ach is i d'in?on go bhfaighidh t? bas. Сын твой, пока не женится, а дочка – до гробовой доски. И вот теперь и мужа потерять... Ну не жестокость ли это, когда Господь отнимает у нас тех, кто нам всего дороже?

– Все мы несем свой крест, – пробормотала Нора. И приподняла лежавшего у нее на коленях Михяла. – Да чего тебе так нейметя-то, малыш?

– Ой, Нора, он, бедняжка, орал так, что, казалось, мертвому из могилы подняться в пору. Кричал, плакал, а с чего – непонятно. И так – все эти дни. Как ты спишь-то с ним рядом, когда он орет не переставая?

Михял завизжал еще громче. По красным, лихорадочно горевшим щекам текли слезы.

– А ты покормила его? – спросила Бриджид.

Она взяла лежавшую на скамье накидку Норы и развесила на низкой потолочной перекладине – подсушиться у огня.

– Покормила ли я ребенка? – Пег сверкнула глазами в сторону Бриджид. – Наверно, пятеро моих детей чудом выжили и собственных детей заимели, раз я их в жизни не кормила, а так пускала бегать, без еды, поживись чем бог послал, расти себе, как былинка в поле! Пора бы уразуметь, что к чему, Бриджид. Болтаешь ерунду, когда полная луна тебе уже срок твой кажет! – Она пожевала губами, обнажив немногие оставшиеся зубы. – Ну и компанию ты мне подобрала, Нора! Малец и эта калинь! [7 - Кали?нь – девушка (ирл. cail?n).] Хотя, правду сказать, правильно было поберечь их, от греха подальше!

– Ну, думаю, его-то я берегу. – Бриджид опасливо прижала руку к животу. – Дэн даже когда свинью режет, меня из дому гонит.

– Знала я одну женщину, – продолжала Пег. – Рисковая была, старые обычаи в грош не ставила, гордость, видишь ли, не позволяет. Так что думаете, когда скотину резали, она кровь побоялась собрать? А муж-то помешать ей хотел. Сильный был мужчина, а ее не переспорил: по-своему сделала. И как пить дать, ребеночек, что она носила, на свет появился с лицом как печенка сырая и нравом под стать такому лицу.

Небо зарокотало глухими раскатами грома, и лицо Бриджид исказила гримаса страха.

– Правда?

– О, дьявола искушать – дело последнее! Ни к мертвому телу, ни к крови тебе в твоём положении лучше не приближаться.

– Этим меня и та старуха пугала. Седая такая.

– Бян фяса?[8 - Бян фяса – вещунья (ирл. bean feasa).] Верно, Нэнс Роух – она чудна?я.

– Раньше я ее и не видала никогда. Думала, так, работница – подсобить, если надо чего.

– Не видала? Ну так она особо и не показывается. Пока не почувствует – зовут, или когда люди сами за ней не прибегут.

– Или когда посулят теплый угол и кусочек послаще, – холодно добавила Нора. – Меня она ни разу не пользовала, а Мартин ходил к ней всего раза два, а она вон явилась на бдение. В плакальщицы напросилась.

Пег воззрилась на Нору в недоумении.

– Она умеет чувствовать, когда нужна, – ровным голосом сказала она.

– Но мне-то почему никто не говорил, что она слово знает? – спросила Бриджит.

– Господи, да не говорят о таком, ходишь ты к ней или не ходишь. Люди идут ведь к ней и с тем, чего священнику не расскажешь и от матери родной утаишь. Да и имя ее, толкуют, поминать не к добру. Боятся ее люди.

Бриджид даже вперед подалась от любопытства.

– А почему? Почему так? Что она, может, натворила чего?

– Да уж надо думать, натворила! – Пег хитро подмигнула. – Живет у самого леса, одна как перст, ну как не начать про нее языком трепать! И лечит, люди признают, по-правдашнему. Не то что некоторые знахари – божатся, что дар имеют, а весь дар их – угадывать, где выпить можно на дармовщинку.

– Материного двоюродного брата она от лишая пользовала.

Нора, причмокивая, укачивала Михяла. Измученный ребенок наконец задремал, то и дело хныкая во сне.

– К Нэнс Роух аж из Балливурни ходят. Даже крепкому мужчине такой путь одолеть не просто, и все ради того, чтоб нашептала что-то тебе на ухо да глянула на твои бородавки!

Пег кивнула:

– Нэнс из тех, что с нечистью знают, так ее и прозвали. Нэнс на Бу?кий – Нэнс нечистой силы. Оттого многие ее и сторонятся, видеть не хотят, но еще больше таких, что как раз потому к ней и тянутся.

– А ты веришь этому, Нора?

Нора презрительно мотнула головой:

– И говорить об этом не желаю! В мире полно всякого-разного, и не моего ума это дело. Поговаривают, будто она с добрыми соседями дружбу водит, не знаю уж, правда или нет.

– Пег, – прошептала Бриджид, косясь на дверь, будто ожидая, что та вот-вот распахнется. – Так она, может, и с Теми заодно? Что священник-то говорит?

– Отец Рейли, пока жив был, всегда к ней по-доброму относился, а иные церковники могут сказать, что не от Господа ее лечение. Но вот те, кто ходит к ней, все как один говорят, что лечит она не иначе, как именем Божьим и Святой Троицы. Ой, слышала сейчас?

Тихо зарокотал гром, и Нора вздрогнула:

– Отведи от нас беду, крестная сила...

– Что ж, и мужа у ней нет? И детей?

Старуха улыбнулась:

– Ну, если только какая нежить с могильника у ней в мужьях. Или, может, коза ее старая на самом-то деле муж, в козу добрыми соседями переделанный. – Собственное предположение до того развеселило Пег, что она так и покатилась,

хохоча, как от щекотки.

Бриджид задумалась:

– Тогда она явилась – волосы мокрые, губы белые – чисто привидение! Или будто утопить ее хотели, а она вылезла. А глаза словно туманом заволокло. И что можно увидеть-то такими глазами!

– С Нэнс Роух лучше ладить добром, – согласилась Нора.

Пег издала короткий смешок и вытерла десны краем фартука.

– Да будет тебе известно, Бриджид, что родилась женщина эта ночью, в самую глухую ее пору, а значит, и видит она иначе, чем все мы...

– Она всегда здесь жила?

– Нет, пришла она, но поселилась так давно, что еще дети мои ее пугались, как пугаются сейчас их дети. Но родилась она не здесь, нет, не здесь. Помню я, как она здесь появилась. В ту пору много людей бродяжило, по дорогам шаталось. Вот и Нэнс была такой нищей бродяжкой, ни кола ни двора. Священник тогдашний пожалел ее – молодая женщина, как была она тогда, и никого-то у нее нет, ни одна живая душа о ней не позаботится. Мужчины выстроили для нее бохан – крохотную лачугу возле самого леса. Ни огорода приличного – чтоб картошку сажать, ничего, но кур всегда держала. И козу. О, коз своих она пестовала! Что ж, прожить на терновых ягодах и орехах, да на прашя?х[9 - Прашя?х – жидкая овсянка (ирл. praiseach).] в теплые месяцы еще можно, но, когда она только заявила, все ждали, что вот стукнут холода и пойдет она по чужим дворам побираться, картошку кланчить. Но нет, глядим, сидит там у себя, зимует, и на следующий год – так же, и еще через год, пока не пошли толки, что все это неспроста, что не протянуть женщине на одних только травах да ягодах. Иные решили, что приворочивает она по ночам. Другие – что с Самим якшается.

– С дьяволом?

Снова ударил гром. Женщины так и подскочили.

– В этакую-то ночь да такие разговоры вести! – возмутилась Нора.

– Да уж. Странной она показалась с самого начала.

– Может, повечерять нам время пришло? Не проголодались? Пег, не заночуешь у меня? Ночь-то для прогулок неподходящая...

Куда девалось охватившее Нору на поминках настойчивое желание остаться одной? От одной мысли провести этот беспокойный вечер наедине с Михялом живот сводило ужасом.

Пег обвела взглядом пустое жилище и, будто почувствовав настроение Нору, кивнула:

– Заночую, если тебе это не в тягость.

– Может, мне Михяла взять? – предложила Бриджид.

– Я уложу его.

Нора уложила мальчика в самодельную колыбель из ивовых прутьев и соломы.

– Не перерос он люльку-то? – сказала Пег. – Ноги свешиваются.

Нора пропустила эти слова мимо ушей.

– Схожу сейчас подою, и мы перекусим. – Шум дождя и шипение огня в очаге заглушило новым раскатом грома. – Ну и вечерок выдался!

Пег ласково погладила Бриджид по животу:

– Вот и хорошо, что ты сейчас здесь с теткой мужа сидишь, а не бредешь где-нибудь впотьмах! – Она прищурилась. – Гром подчас птенчиков еще в яйце убивает.

– Пег О’Шей, зачем пугать ее всякими выдумками!

Подвесив тяжелый котелок с водой на цепь, свисавшую со стенки очага, Нора уставилась в огонь, щурясь на дымное пламя.

– Займись скотиной, Нора. Корова небось сама не своя – грозы боится. – Пег повернулась к Бриджид: – А молния, говорят, у молока силу отнимает. После такой ночи наутро не у одной хозяйки молоко свернется, попомни мое слово!

Бросив на Пег суровый взгляд, Нора стянула с перекладки еще мокрую накидку и, опять укрыв голову и взяв ведро, ступила в темноту двора, где порывистый ветер и хлещущий дождь едва не сбивали с ног. Согнувшись в три погибели, торопясь укрыться от потопа, она поспешила в хлев.

Корова моргала в сумраке круглыми от страха глазами.

– Ну-ну, Бурая, что ты, успокойся. – Нора гладила бок коровы, но едва она потянулась за скамеечкой и поставила не землю ведро, как животное, вздрогнув, натянуло привязь. – Тихо, девочка, не бойся, никто тебя не обидит, – нараспев ласково стала она уговаривать корову, но та только мычала. Боится, подумала Нора и бросила в кормушку охапку сена. Но корова есть не стала, дышала тяжело и прерывисто и, едва Нора сжала ее соски, метнулась в сторону, норовя порвать путы. Ведро со звоном покатилося по земляному полу. Нора встала, раздосадованная.

Снаружи сверкнула молния.

– Ну, как знаешь, – пробормотала Нора, подобрав ведро, и, вновь покрыв голову накидкой, кое-как добралась до хижины. Там остановилась под навесом крыши, чтобы счистить грязь с босых ног. Из-за двери доносился голос Пег, женщина говорила тихо, заговорщически:

– Малый-то, Михял... Только глянь на него. Уродец как есть.

Нора похолодела.

– Да я слыхала, Мартин с Норой взяли к себе ребенка-калеку. А это правда, что он еще не ходит?

Бриджид.

Сердце у Норы заколотилось.

– Да, думаю, и не будет ходить. Четыре года – и вот, пожалуйста! Знала я, что Нора взялась обиходить мальчишку и что, когда его привезли, он был еле жив, но чтоб такое... Он ведь и не в своем уме!

Нора почувствовала, как лицо ее вспыхнуло, несмотря на холод. Затаив дыхание, она припала глазом к щели. Бриджид и Пег разглядывали мальчика.

– А священника она к нему не звала?

– Чтобы полечил? Я-то знаю, что священнику дана такая сила – кабы только захотел он ее в ход пустить. Но отец Хили – человек занятой, городской человек, жил почти всю жизнь не то в Трали, не то в Килларни, и очень я сомневаюсь, что есть ему дело до убогих мальчишек с ногами как плети!

Бриджид помолчала.

– Я Бога молю, чтоб мой исправным родился.

– Бог даст, родится здоровехонек. Ты себя смотри береги, не простужайся. Сдается мне, что ребеночек ослаб умом и руки-ноги у него отказали, когда мать его занедужила. Но пока жива она была, о том, что с дитятей неладно, речи не было.

У Норы упало сердце. Родственница сидит у нее в доме и хулит ее внука! Нора прижалась лицом к двери, сердце прыгало где-то у горла.

– Так, значит, от Норы ты это узнала?

Пег насмешливо улыбнулась:

– Да неужели? Нора о мальчике и словом никогда не обмолвится. Почему, думаешь, трясется она над ним, как наседка, держит взаперти и ни с кем из нас не делится тем, что с мальчиком? Почему, думаешь, как только муж ее

скончался, она велела Питеру О'Коннору отнести мальчишку ко мне, пока еще толпа в дом не набежала? Да его никто и в глаза, считай, не видел, я ей даром что родня, так и то не дали рассмотреть, рассмотрела только в эти дни, и можешь себе представить, каково мне пришлось, когда рассмотрела я его хорошенько!

– Она стыдится его.

– Да, неладно с ним. Тяжело это, должно быть. Дочь померла – помилуй Господи ее душу, – и теперь вот этот хворый; и ухаживай за ним в одиночку.

– Но она сильная, Нора-то. Сдюжит.

Стоя за дверью, Нора могла видеть, как откинулась на спину Пег, как провела языком по беззубым деснам.

– Есть в ней стержень, в бабе этой, твердость есть. И все ж боюсь я за нее. Уж такая полоса ей выдалась темная – смерть и уродство это. Дочь померла, а сейчас и Мартин скончался, и дитя головой слабое от всего этого, порченное дитя.

– Питер О'Коннор говорил, что светилося возле урочища фэйри в той самый час, когда Мартин уходил. Говорил, что третьей смерти не миновать.

Перекрестившись, Пег бросила в огонь еще один кусок торфа.

– Упаси Боже. Хотя бывает, и почище вещи случаются.

Нора медлила в нерешительности. По лицу ее стекали капли дождя. Мокрая накидка промочила платье. Закусив губу, она силилась расслышать, что еще они скажут.

– Нэнс приходила голосить по Джоанне?

Пег вздохнула:

– Нет, не приходила. Норина дочка замуж в Корк вышла, давно уж дело было. Там и похоронена, где-то возле Макрума, что ли. Нора о смерти ее узнала, лишь когда зять к ней заявился, ребенка ей привез. Вот горе-то было горькое: вечер, уже смеркается, хлеб в полях только собрали, и тут вдруг муж Джоанны на осле, и Михял тут же, к седлу ремнями приторочен. И говорит, что Джоанна истаяла как свеча и что он теперь вдовец. Да, извела Джоанну болезнь, так муж ее сказал. Однажды легла она с сильной головной болью и потом уже не встала. И чахла она, чахла, пока не исчахла совсем. А ему ребенка было не поднять, и, знаю я, родня его решила, что правильно будет отвезти Михяла к Норе и Мартину. Нора об этом молчала, но слухи ходили, когда привезли его, Михял оголодавший был. Худущий – кожа да кости, краше в гроб кладут.

Да как она смеет, думала Нора. Сплетничает обо мне в день похорон моего мужа! Распускает слухи о моей дочери! На глаза навернулись слезы, и она отпрянула от двери.

– Бедность не порок, чего ее стыдиться... – Ветер далеко разносил пронзительный голос Бриджид. – Нам ли не знать ее.

– Может, кто не стыдится бедности, а Нора-то из гордых; привыкла высоко держать голову. Вот замечала ты, что о покойнице она никогда не говорила? Моего мужа еще когда Господь прибрал, а я все говорю и говорю о нем, как о живом, будто он все еще здесь. Так он вроде и не покидал меня. А вот когда померла Джоанна, Нора как ножом ее от себя отрезала, даже имя дочкино у нее с языка не слетает. Наверняка тоскует она по ней, но воспоминаниями о дочери делится разве что с бутылкой.

– Она что, в кабак захаживает?

– Ш-ш... Не знаю уж, где Нора себе утешение находит, но, если бутылка мирит женщину с тем, что есть, разве есть у нас право ее осуждать?

Это было уж чересчур. Нора поспешно вытерла глаза и, сжав зубы, вошла в кухню – блеснули мокрое лицо и накидка. Прикрыв дверь, в которую рвались дождь и ветер, она поставила ведро на столик под заткнутым соломой окошком.

Женщины молчали. Интересно, догадались они, что я их подслушала, подумала Нора.

– Молока-то много надоила? – прервала молчание Пег.

– Испугалась она чего-то.

Стянув с плеч накидку, Нора села на корточки перед огнем и стала греть руки, стараясь не смотреть в сторону женщин.

– В былые времена и масла в долине было вдоволь, – пробормотала себе под нос Пег, – а теперь каждая вторая корова – порченная.

Подал голос Михял, и Нора, с облегчением оттого, что появилось дело, поспешила вынуть ребенка из его тесной колыбели.

– О, да ты великан! Вишь, какой тяжелый!

Пег и Бриджид переглянулись.

– О чем говорили? – спросила Нора.

– Да Бриджид наша все насчет Нэнс интересуется.

– Вот как?

– Ну да. Расспрашивает и расспрашивает.

– Не хочу прерывать вашего разговора. Давайте, продолжайте. Что там за история?

Норе показалось, что глаза женщин испуганно блеснули.

– Ну, я говорила, что тогда, вначале, людям странным показалось, что женщина может одним воздухом питаться, воздухом и одуванчиками. И отправились они к священнику. Не к отцу Хили, а к тому, кто до него был, отцу О’Рейли, упокой Господь его душу. Но он и слушать не захотел всех этих сплетен и подозрений. «Оставьте бедную женщину в покое», – сказал он. А был он, Бриджид, человек строгий, сильный был человек, опора тех, кто за себя постоять не может,

бездомных защитник. Это он мужчин поднял хижину ей строить и людей к ней посылал – за травами и лечиться. Ревматизмом мучился.

Вода в котелке задрожала, закипая. Нора, гневно поджав губы, глядела, как падающие в дымоход дождевые капли бьют по бокам котелка.

– Ну а потом что было? – прервала молчание Бриджид.

Пег, поерзав на стуле, покосилась на Нору:

– Ну, уже вскоре после того, как поселилась Нэнс в этой своей хижине, пошла о ней молва. А однажды на вечерках у старой Ханны принялись мы байки разные вспоминать, рассказывали и о добрых соседях. Ханна и поведала о волшебном кусте шкяхъяла,[10 - Шкя?хъял – боярышник (ирл. *sceach gheal*).] о том, как пытались срубить его. Это Дэниела твоего дядька, Шон Линч, пытался. Дурак был, ей-богу, этот Шон, молодой тогда совсем.

Собрались как-то у кузни ребята и давай хвастать промеж себя. Шон, родственничек твой, говорит, срублю, дескать, боярышник этот. Они остерегали его – не надо, не трогай куста. Так ли, эдак ли, только прослышала Нэнс Роух о его хвастовстве. Ты ведь видала, где куст этот растет? Возле логовища фэйри. И Нэнс там же живет, неподалеку. Вот и заявила она к нему однажды вечером. У него, понятное дело, и у Кейт душа в пятки, как увидели ее в дверях, а она и говорит: лучше бы тебе оставить тот куст стоять, как он стоит, не то затаят Они против тебя злобу. Это ведь Их куст, так что не касайся его, верно тебе говорю, беды не оберешься, накличешь, если подойдешь к нему со злом. Ну а он, ясно дело, только насмехается, да и отругал ее, в придачу обозвал самыми последними словами и в тот же день отправился рубить шкахъял. Старая Ханна говорила, что собственными глазами видела, как замахнулся Шон хорошенько топором на боярышниковый куст. И хочешь верь, хочешь нет, Ханна сама видела, как не попал топор в ствол, пролетел по воздуху и хватъ Шона по ноге! Чуть ли не пополам ногу разрубил. Оттого и хромает Шон теперь.

Снизу донесся булькающий звук. Женщины, наклонившись, увидели, что Михял устоялся на потолочные балки и на губах его играет кривая улыбка.

Нора глядела, как, подавшись вперед, Пег внимательно, с серьезным видом, вглядывается в лицо мальчика.

– Ему рассказ нравится.

– Давай дальше, Пег, – нетерпеливо сказала Бриджид. Примостившись на самом краю лавки, она еле могла усидеть на месте, по лицу ее плясали блики от пламени в очаге.

– Вот отсюда все и пошло. После истории с топором люди заговорили, что Нэнс ведома фис шийо?г – мудрость фэйри. И народ начал захаживать к ней, когда считалось, что Эти что-то разошлись и принялись за свои проказы. Люди подозревать стали, что и она, может, у них побывала, что Они ей тогда мудрость и передали.

– Что-то не встречала я таких, кто у добрых соседей гостил. Кого они умыкнули! – Бриджид поежилась.

– Я вот что тебе скажу, Бриджид. В долине нашей люди спокон веку живут. Пришлым бродягам у нас места нет, коли они не породнятся с тутошной кровью. А Нэнс здесь утвердилась, вросла в нашу землю – потому что травы знает, мертвых умеет оплакать, да и рука у нее легкая по повивальному делу. Многие бояться ее стали после той истории с боярышником, многие и теперь еще побаиваются, но больше таких, кому без нее не обойтись. И покуда в ней есть нужда, будет Нэнс жить в своем бохане возле леса. Муж мой покойный как-то раз проснулся утром с заплывшим глазом. Вспух глаз и не видит ничего! Отправился он к Нэнс, а та ему говорит, это фэйри, дескать, глаз тебе испортили. Сказала, что заметил он, должно быть, одним глазком кого-то из ихнего роду-племени, а негоже это человеку, нет у него такого права, вот они и отняли зрение у того глаза, что фэйри увидел. Поплевали мужу моему в этот глаз, когда он спал. Так Нэнс сказала. Но у нее на это средство нашлось – гланроск, очанка. Так и вымыла она настоем этой травки слюну фэйри. Так что уж не знаю, похищали ее фэйри или нет, но дар у нее есть – это точно. А от Господа он или от добрых соседей, не нашего ума дело.

– А мне Нэнс будет помогать, когда срок мой придет?

– Конечно. Кто ж еще?

– Подержи его, пока я чай приготовлю, – сухо сказала Нора, передавая Михяла на руки Бриджид.

Бриджид неловко пристроила ребенка у своего большого живота, и Михял, словно почувствовав всю необычность такого положения, застыл, а потом вскинул руки, оторвав их от боков, и недовольно надул губы.

– Он перышки любит, – сказала Нора, кидая картошку в дымящийся горшок. – Вот. – Она подобрала маленькое пушистое перышко, сквозняком занесенное в хижину с куриного насеста. – Мартин всегда щекотал его перышком.

Бриджид взяла перышко и провела им по ямочке на подбородке малыша. Ребенок засмеялся так громко, что грудь его заходила ходуном.

Бриджид, как и его, обуял смех:

– Нет, вы только посмотрите!

– Добрый знак, – заметила Пег, кивнув на обоих.

Улыбка Норы тут же погасла.

– Добрый знак чего?

Взяв железные щипцы, Пег неспешно ворошила угли.

– Ты что, оглохла? Добрый знак... чего, Пег О'Шей?

Пег вздохнула:

– Знак, что Михяла твоего еще можно вылечить.

Плотно сжав губы, Нора бросила в кипящую воду оставшиеся картофелины. Вода выплеснулась ей на руку, и Нора вздрогнула.

– Мы только добра желаем твоему ребенку, – пробормотала Пег.

– Добра? Вот как?

– Ты к Нэнс его носила, а, Нора? – Голос Бриджид звучал неуверенно. – Мне вот сейчас в голову пришло, что, может, его околдовали.

В хижине повисла тишина.

Нора внезапно осела на пол и, уткнувшись в передник лицом, задышала глубоко и прерывисто. На нее пахнуло знакомым запахом коровьего навоза, молодой травы.

– Ну полно, полно, – зашептала Пег. – Тяжелый день тебе выпало пережить, Нора Лихи. Не стоило нам говорить о таких вещах. Да благословит Господь это дитя и поможет вырасти ему большим и сильным, как Мартин.

Услышав имя мужа, Нора застонала. Пег положила руку ей на плечо, но Нора, передернув плечами, сбросила ее руку.

– Прости ты нас. Мы же ничего дурного не хотели. Tig grian a n-diadh na fearthana. Дождь пройдет, и солнце выйдет. Придет и для нас времечко получше, жди и увидишь.

– Веруй, и Божья помощь в дверь постучится, – пискнула Бриджид.

От порывов ветра трещали стропила. А Михял все смеялся.

Глава 3

Крестовник

В долину пришел канун самайна – ветер возвестил о нем горьким запахом прелых дубовых листьев и кисловато-острым – яблочной падалицы. До Норы доносились веселые крики ребятни. Дети рыскали по полям вдоль оград, заросших кустами ежевики. Они спешили собрать последние налитые красным

соком ягоды, пока ночь не призовет пука,[11 - Пука – ирландское название гоблинов (ирл. púca).] чтобы тот отравил ежевику, дохнув на нее ядом. Дети выскакивали из канав, чумазые, с алыми от ягод руками и ртом, врываясь в тихие туманные сумерки, точно шайка кровавых убийц. Потом они карабкались вверх по откосам, разбегаясь по домам, а Нора смотрела им вслед. На некоторых мальчишках были платица, чтоб обмануть нечистых. Опасно, коли такая ночь застигнет тебя вне дома. Она принадлежит духам. Мертвые бродят совсем рядом, и скоро те, кого не приняли ни в рай, ни в ад, примутся разгуливать по стылой земле.

Вот уже идут, думала Нора. Выползают из могил, из мрака и сырости. Идут на огонек, на свет наших очагов.

Смеркалось. Нора глядела, как два карапуза со всех ног бегут домой, а мать торопит их, волнуется, зовет. В такую пору не стоит искушать дьявола, да и фэйри тоже. В канун Самайна, бывало, люди пропадали. Бесследно исчезали дети. Их заманивали фэйри в свои круглые каменные оплоты, увлекали в горы или бочаги огнями и музыкой, и родители с тех пор их никогда больше не видели.

Нора с детства запомнила, сколько было страху и кривотолков, когда один обитатель долины не вернулся в родную усадьбу в канун Самайна. Нашли его лишь наутро – окровавленный, голый, он корчился на земле, сжимая в руках пук желтого крестовника.

Его умыкнули сиды, так объяснила ей мать. И помчали его с собой на конях, катали всю ночь, пока не стало светать. С рассветом они его бросили. Схоронившись в темном углу, Нора слушала тогда взволнованные шепоты и пересуды соседей, собравшихся возле родительского камелька. Вот же бедолага – оказаться перед всеми в таком виде! Да его мать со стыда бы сгорела! Взрослый мужчина, а весь дрожит, трясется и лепечет что-то несусветное о лесе, где побывал, плетет такое – несмысленношу впору.

«Умыкнули меня, – все твердил он землякам, когда те его поднимали, укрывали плащом и, взвалив на плечи, терпеливо несли всю дорогу, помогая добраться до дому, потому что идти сам он не мог. – Умыкнули меня».

На другой вечер мужчины и женщины пожгли на полях весь крестовник – в отместку добрым соседям, чтобы лишить их священного их растения. До сих пор Нора помнит костерки, горевшие по всему склону долины, и как мигали они в темноте.

Мальчишки добрались наконец до дому, и Нора видела, как мать, впустив их, закрыла за ними дверь. Окинув последним долгим взглядом лес и встающий над ним кривой нож месяца, Нора перекрестилась и вошла к себе в хижину.

Дом, показалось ей, стал меньше, словно съезжился. Встав на пороге, Нора оглядела свое владение, все, что еще осталось у нее в этом мире. Как же переменялось это все за месяц, что нет Мартина! Каким пустым кажется дом. Грубые камни очага; дым от прежних огней закоптил заднюю стенку, чернеющую теперь треугольником толстого слоя сажи. Болтается на цепи ее котелок для картошки, плетеное решето прислонено к стене, у закопченного оконца мутовка для масла, а под ней столик с двумя треснувшими тарелками дельфтского фаянса и глиняными крынками для молока и сливок. Даже остатки ее приданого – настенная солонка, штамп для масла, раскладная лавка, вытертая до гладкости, – наводили уныние. От всего в доме веяло вдовством. Табак Мартина и его трубка в нише над очагом уже подернулись тонким слоем пепла. И пустуют старые низенькие скамеечки. Камыши на полу высохли, крошатся под ногами, давно пора новые настелить, а зачем? Лениво перебежали языки пламени в очаге – единственный признак жизни, да еще куры шебуршились на насесте да Михял вздрагивал во сне на ворохе вереска.

Вылитая Джоанна, подумала Нора, вглядываясь в его лицо.

Лицо спящего внука казалось нестерпимо гладким, бескровным, восковым. И отцовская ложбинка между подбородком и нижней губой, придающая рту капризную гримасу. Но волосы у мальчика – Джоаннины. Рыжеватые, мягкие. Мартин любил их. Разок-другой Нора, войдя, заставляла мужа возле малыша, он гладил его волосы, как гладил он волосы их дочери Джоанны.

Нора убрала тонкие пряди со лба Михяла и на мгновение в жгучем тумане слез, заставшем ей глаза, вообразила, что перед ней Джоанна. Стоит прищуриться – и вновь она молодая мать, сидит перед спящей дочкой. Вот медноволосая девочка вздыхает во сне. Единственное ее дитя дышит, цепляясь за жизнь. Такое послушное, с пушистыми волосами.

Она вспомнила слова Мартина, сказанные в ту ночь, когда родилась Джоанна. Шатаясь от усталости после бессонной ночи и выпитого виски, радостный, испуганный, голова кругом. «Крошка-одуванчик, – сказал он, глядя перышки волос на голове новорожденной, – береги себя, не то ветер подует, развеет тебя по горам и долам – и нет одуванчика».

Вспомнилась пословица: «Разбрасывать не собирать – дело нехитрое».

Нора почувствовала, как сдавило грудь. Ее девочка и муж ушли. Ветер унес их – не догнать. Они теперь в Божьих чертогах, там, куда она, стареющая, исхудалая, изможденная гнетом лет, должна была бы отправиться первой. Она услышала хриплое свое дыхание и отдернула руку от Михяла.

Дочке бы жить и жить. И быть такой, какой она встретила Нору в тот раз, когда они с Мартином, прошагав чуть ли не целый день, навестили Тейга и Джоанну в их хижине на болотах. В тот раз Нора впервые увидела дочь после свадьбы: и та так и светилась счастьем, когда стояла на взгорке, куда поднималась дорога, стояла с ребенком на руках на фоне цветущего утесника и неба, такого широкого, солнечного. Как же разулыбалась она при виде родителей, гордая, что теперь жена, что есть у нее ребенок!

«А это маленький Михял, – сказала она, и Нора обняла мальчика и заморгала, смахивая слезы, от которых щипало глаза. Сколько же было тогда ему? Не больше двух. Но он рос и был здоров и вскоре уже семенил, догоняя поросенка, который с визгом носился по сырому полу их тесной хижины.

– Да он, вот те крест, вылитая ты! – сказал Мартин.

Михял потянул Джоанну за юбку: «Мама!» И Нора обратила внимание, каким привычным легким движением Джоанна подхватила ребенка, как стала щекотать его, трепать по подбородку, пока он не зашелся в приступе смеха.

«Бегут годы-то, прямо галопом скачут», – пробормотала себе под нос Нора, а Джоанна только улыбнулась в ответ.

«Еще! – требовал Михял. – Еще!»

Нора тяжело опустилась на табуретку и уперлась взглядом в лицо мальчика, так не похожего теперь на того внука, который ей помнился. Она глядела на его приоткрывшийся во сне рот, на руки, поднятые над головой, на странно вывернутые запястья. Ноги Михяла не могут выдержать его веса.

Что же это случилось с тобой, думала она.

Как ужасна эта тишина в доме.

С того времени, как не стало Мартина, Нора ловила себя на том, что только и делает, что ждет его возвращения, одновременно мучась сознанием того, что он не вернется. Тишина все еще казалась непривычной. Не слышно было ни вечного посвистывания Мартина, ни его смеха. Ночи проходили без сна. Вытерпеть эти тягостные бессмысленные часы можно было только вжавшись в пролежанную им ямку в соломе, воображая, что это Мартин ее обнимает.

Так не должно было случиться. Мартин выглядел таким здоровым. Конечно, годы брали свое, как и у нее, но он легко нес свой возраст на крепкой спине, на жилистых ногах крестьянина. Он ничуть не обрюзг. Даже седой, с лицом, посеченным временем и непогодой, как, должно быть, и ее собственное, Мартин был полон жизни. Она считала, что он переживет их всех. И представляла, как станет умирать, а он терпеливо и чутко будет ухаживать за ней, сидя у смертного ее одра. Когда Нора бывала не в духе, то воображала его на своих похоронах, как он бросает комья глины на крышку ее гроба.

На поминках женщины уверяли ее, что скорбь со временем утихнет, и Нора в тот миг их ненавидела. А теперь поняла: существует пустота. Надо же – прожить всю жизнь и не заметить это море одиночества, поющее нежную песнь по умершим... Как приятно было бы тихо погрузиться в него и утонуть! Как легко сделать шаг и рухнуть в эту бездну. И какой там покой.

Она думала, что не переживет того летнего дня, когда после полудня вдруг приехал Тейг. Глаза его были пусты, в волосах блестела застрявшая мякина.

Джоанна умерла, сказал он. Умерла жена.

Джоанна, крошка-одуванчик ушла, улетела, как унесенное ветром семечко. Норе почудилось: колосющееся овсяное поле, и она в этом поле, и вдруг падает серп

из рук. И мысль: «Ну вот. Прилив нахлынет, потом уйдет. Пусть и я уйду вместе с ним».

Если бы не Мартин... Он утешался Михялом, оставшимся без матери подкидышем, которого Тейг привез им в корзине для торфа. Именно Мартин заставлял ее заботиться о Михяле, лить молоко в этот пищавший, ненасытный ротик. Мартин любил малыша. И даже бывал счастлив с ним рядом.

«Краше в гроб кладут!» – сказала Нора про внука в тот вечер, когда они с мужем сидели, раздавленные горем. Наступали сумерки. Осеннее солнце клонилось к закату, и они оставили открытой створку двери, чтобы в хижину проникал розоватый вечерний свет.

Мартин поднял мальчика из корзины. Он держал его, как держат раненую птицу.

– Да оголодал он. Взгляни на его ножки.

– Тейг говорил, он разговаривать разучился. Уж полгода или больше, как молчит.

В ласковых объятьях деда мальчик успокоился, судорожные движения прекратились.

– Мы найдем ему доктора, и доктор вылечит его. Нора? Ты меня слышишь?

– Доктора мы не потянем.

Вспомнились сильные руки Мартина, с какой добротой гладил он мальчика по волосам. Грязь, въевшаяся в заскорузлые ладони.

Вот так же же, как Михяла, гладил он испуганных лошадей, нашептывая им что-то, ласково, спокойно. Даже в тот вечер, сраженный горем и тоской по дочери, Мартин оставался спокоен.

– Мы раздобудем доктора, Нора, – сказал он. И только потом голос изменил ему. – То, что не смогли мы сделать для Джоанны, мы сделаем для ее сына. Для внука нашего.

Нора глядела на пустую табуретку, на которой сидел Мартин в тот летний вечер.

Почему Господь не прибрал Михяла? Зачем оставил мне ребенка-калеку вместо здорового мужа, здоровой дочери?

Да чтоб вернуть Мартина и дочь, я бы этого мальчишку о стенку расшибла, подумала Нора и тотчас сама ужаснулась. Посмотрела на спящего ребенка, стыдливо перекрестилась.

Нет. Не годится сидеть понуро у очага, вертя в голове черные мысли, – так мертвых не приветишь. Ни дух дочери, ни мужнина душа, помилуй их Боже, посетив такой дом, не признают его своим.

Пока Михял спал, Нора, поднявшись, наполнила горшок водой из колодезного ведра и бросила туда столько картошки, сколько только могла себе позволить. Поставив ее вариться, занялась табуретками; расставила их вокруг очага, Мартинову – поближе к огню, табуретку Джоанны – рядом. Хоть они и скончались, думала она, но с Божьей помощью ей удастся вновь провести с ними эту ночь – единственную в году.

Когда картошка стала мягкой, Нора обсушила ее на решете и поставила кружку соленой воды посреди дымящихся картофелин. Съела одну-другую, проворно очищая их и макая в соленую воду – для вкуса и чтобы остудить. Затем она достала Мартинову трубку, выбила ее, продула черенок. Положила на табуретку.

Она прошлась по хижине, сняла паутину со стропил, поправила крест у окна и, занимаясь этим всем, позволила себе пуститься в воспоминания – о дочери, когда та была маленькой и жили они вместе, семьей. Вспомнила раннее ее детство, когда пухлощекая еще Джоанна играла с собранными в лесу орехами, каштанами и желудями. Ей вспомнилось, как делали они фонарики из картошки. Мартин вырезал ножом сердцевину картофелины, а получившийся фонарик передавал Джоанне, чтоб та выскабливала на нем рожицу: вместо глаз дырки, открытый рот...

К тому времени, как Нора закончила все приготовления к Самайну, обычные вечерние звуки – мычанье скотины, крики и приветствия мужчин, возвращающихся с работ домой, – давно замерли, и в наступившей тишине слышались только потрескивание пламени в очаге и мирное дыхание Михяла.

Она налила в деревянные ковшки сливок для Мартина и Джоанны и вздрогнула от внезапного крика совы в амбаре. Поставив ковшки возле табуреток и встав на колени, она прочитала вечерние молитвы. Не погасив лучин и не будя внука, она легла в постель с бутылкой потина и понемножку потягивала из горлышка, пока жар от спиртного не сморил ее. Большой огонь, весь вечер пылавший в очаге, высушил воздух в хижине, и тепло погрузило Нору в глубокий тяжелый сон.

* * *

Была полночь, когда ее разбудил звук. Глухой удар, точно кулаком в грудь. Нора села в постели, в голове пульсировала боль. Это не Михял. Стучат снаружи. И ей это не чудится.

Выглянув из своего покойчика, она увидела силуэт спящего ребенка. В очаге ярко пылал торф, и все казалось багровым.

И опять этот звук. Снаружи кто-то есть. И хочет войти. С крыши донесся шум, словно кто-то швырнул в дом камнем.

Кровь стремительно ринулась по жилам.

Может, это Мартин? Или Джоанна? От страха у Норы пересохло во рту. Спустив ноги на пол, она поднялась, огляделась, пошатываясь. Она была пьяна.

Теперь звук превратился в позвякивание, словно стучат ногтем по жестяному ведру. Она прошла в большую комнату – никого.

И опять стук. Нора тихонько вскрикнула. Не надо было ей пить!

Послышался смех.

– Кто там? – слабым голосом спросила она.

В ответ опять приглушенный смех. Смеялся мужчина.

– Мартин? – прошептала она.

– Хеллоуин-стук – пенни на круг! Не пропустишь – стукну! Тук! – По глиняной стене хижины забарабанили в полную силу.

Нора распахнула дверь. При свете высокого тоненького серпа луны Нора увидела перед собой три мужские фигуры; лица мужчин были прикрыты матерчатыми масками. Дырки вместо глаз и рта делали эти маски очень страшными.

Нора испуганно попятилась от двери, и средний из молодых людей одним прыжком очутился в хижине, впрыгнул и засмеялся.

– Хеллоуин-стук! – Он сделал несколько неуклюжих танцевальных движений, изображая джигу и громыхая болтавшейся у него на шее длинной связкой орехов. Приятели, стоявшие за его спиной, загоготали, но смех стих, когда Нора громко, в голос, заплакала. Плясун остановился, стянул с лица маску, и Нора узнала Джона О’Шея, внука Пег.

– Вдова Лихи, я...

– Да пропади вы все пропадом! – Она стояла бледная, кровь отлила у нее от лица.

Джон оглянулся на своих приятелей. Те, раскрыв рты, уставились на Нору.

– Убирайся, Джон! – прошипела Нора.

– Мы не хотели пугать тебя.

Нора хохотнула коротким, лающим смехом. Приятели Джона, тоже сняв маски, косились на него. Парни свои, из долины, все трое. Не дочка. Просто озорные парни в масках.

– Ты что это, вдов теперь дразнить придумал? А, Джон? – Нора дрожала как осиновый лист.

Джон выглядел смущенным.

– Так Самайн же. Мы за пирогами для духов.

– И денежками, – пробормотал его приятель.

– Мы ж для смеха только, а так ничего!

– И вы еще смеетесь! – Нора замахнулась на парней, словно желая ударить, и те испуганно отступили в открытую дверь. – Бездельники! Среди ночи крадетесь к бабам, только-только овдовевшим! Будьте добрых людей, пугаете нечестивыми вашими шутками!

– Ты мамо?[12 - Мамо? – бабушка (ирл. мато).] не скажешь? – Джон смущенно теребил в руках маску.

– Уж Пег-то об этом первая узнает! А ну прочь отсюда! – И, схватив табуретку, Нора запустила ее вслед улепетывавшим со всех ног парням. Захлопнув дверь и заперев ее для верности на задвижку, она прижалась к ней лбом. На крохотный миг она вообразила, что это Мартин с Джоанной стоят у ее двери. Как ни глупо, но ей даже виделись их лица. Появление парней с их гадкими масками испугало ее, но большее всего было от рухнувшей надежды.

Старая пьяница льет слезы оттого, что духи не пришли, подумала Нора.

Проснулся Михял и захныкал в своей вересковой постели, тараща круглые темные глазенки. Нора, пошатываясь, добрела до него и тяжело опустилась на пол. Глядя внука по голове, она попыталась убаюкать его колыбельной, как делал Мартин, но мотив звучал так уныло, да и слова она помнила нетвердо. Вскоре она поднялась, взяла брошенную на постель куртку Мартина. Завернувшись в нее и вдыхая застарелый запах горелой мать-и-мачехи, Нора устало рухнула рядом с Михялом.

* * *

– Спаси тебя Господь и Дева Мария, Нэнс!

Подняв глаза от ножа, которым орудовала, Нэнс увидела в двери закутанную в платок фигуру.

– Старая Ханна?

– Старая, и с каждым днем все старше.

– Входи, и Бог тебе в помощь.

Нэнс помогла гостье войти и добраться до табуретки возле огня.

– Ради себя ли ко мне пожаловала?

Женщина, кряхтя и постанывая, уселась на табуретку и покачала головой:

– Нет, ради сестры. Лихорадка у ней.

Нэнс подала Ханне чашку парного молока и кивком предложила угоститься:

– Пей и рассказывай – давно ли она хворает и ест ли.

– Не ест ничего, только водичку пьет.

– От такой беды есть у меня средство.

– Вот уж спасибо!

Ханна отпила глоток и показала на нож в руке у Нэнс:

– Пришла и отрываю тебя от дела...

– Да я всего лишь чертополох рубила. Для кур. А дело мое – людей от лихорадки пользоваться.

Оставив нож, Нэнс отошла в угол и достала оттуда полотняный мешочек. Развязав кожаную тесемку, она бережно, кончиками пальцев, принялась сыпать оттуда какую-то травку в горлышко темной бутылки, что-то бормоча себе под нос.

– Что это? – спросила Ханна, когда бутылка заполнилась, а Нэнс закончила священнодействие.

– Таволга.

– Она ее вылечит?

– Как придешь к ней, брось щепоть сухих цветов в кипяток и поставь на огонь томиться. Дашь ей выпить три раза отвару, и будет она здоровая, как прежде.

– Спасибо, Нэнс.

Видно было, что у Ханны словно камень с души свалился.

– Но не оглядывайся, пока на дорогу не выйдешь. И в сторону Дударевой Могилы и боярышника не смотри, не то в бутылке пусто станет.

– Ладно, хорошо. – Лицо Ханны было очень серьезно.

– А сейчас допивай молоко, и да поможет тебе Господь в пути.

Женщина до дна осушила чашку и, вытерев рот тыльной стороной ладони, встала и потянулась за бутылкой.

– Помни, что я сказала: не оглядывайся!

– Хорошо, Нэнс. И благослови тебя Боже!

Нэнс проводила Ханну до порога и помахала ей вслед на прощание.

– Крепче держи бутылку-то! Зажми ее в кулаке!

Стоя в дверях, она глядела, как старуха, миновав лес, направляется к низине – глаза опущены, платок плотно охватывает голову, точно это шоры, не позволяющие бросить даже беглый взгляд на волшебное убежище и боярышник, на красные ягоды, что посверкивали в ветвях, как капли крови.

Не так уж часто женщины заходили к ней за целебными травами. Большинство жительниц долины и сами прекрасно знали, чем следует лечить обычные недуги, синяки и ссадины, которыми отмечает нас жизнь: дикий мед помогает от воспаления глаз и ячменя, окопник – от ломоты в костях, а если голова болит – надо сунуть в нос листья тысячелистника, это отворит кровь, и тотчас полегчает. А если надо вырвать гнилой зуб или вправить плечо, люди шли к Джону О’Донохью, кузнецу и силачу. К ней же, к Нэнс, обращались, только когда домашние средства – припарки из гусяного помета и горчицы или отвар королевского папоротника – не могли одолеть заразу или утихомирить кашель. Шли, когда страх вырывался из узды, когда дитя бессильно лежало у матери на руках, когда хворь не брали ни черешки цикория, ни листья толокнянки, ни даже соленые лисьи языки.

На этот раз дело непростое, говорили тогда Нэнс, показывая скрученную ступню или свистя забитыми легкими – это меня сглазили, говорили они. Это все добрые соседи.

За травами приходили в основном мужчины. Привычные к работе в поле и непривычные к виду собственной крови. Не доверявшие докторам или не имевшие денег на их флаконы с ярлычками. Выросшему на земле казалось спокойней лечить свои раны растениями, среди которых он сам играл еще мальчишкой, и доверяться рукам морщинистым, как у родной бабки, что сидела когда-то у очага в доме его детства.

Но знала Нэнс и то, что в большинстве своем люди шли к ней вовсе не за травами. Недужные телом приходили обычно при свете дня с кем-нибудь из родных. Но жаждавшие совета и помощи другого рода, те, кто обнаружил вдруг, что жизнь их странным образом пошла не так, как положено, кто не мог даже точно указать на причину своих бед, приходили в неверном свете едва забрезжившего утра либо в сумерках, когда все располагает к одиночеству, люди разбредаются по своим углам и отправившихся к ней никто не хватится. Нэнс знала, что не закрепляющие чаи, не мази из крестовника и жира, а эти тайные посещения сохраняют за ней право и дальше жить в ее лачуге. Вот такие

люди особо нуждались в ней – в ее времени, голосе, прикосновении ее рук к своим. Годы Нэнс и ее одиночество они считали верным признаком ее дара, ее волшебной силы.

Какая другая женщина станет жить на отшибе с одной лишь козой да сухими травами под потолком? Какая другая водит дружбу с птицами и обитателями иного, потаенного мира? Кто по доброй воле выберет такую жизнь, не захочет ни детей, ни мужской ласки? Только та, что избрана переходить за черту. Та, что каким-то неведомым образом приобщилась к тайнам, что в переплетении цепких ветвей шиповника умеет различить письма Господни.

Нэнс глубоко вздохнула, втянув свежий и хрусткий осенний воздух и, поклонившись в сторону урочища фэйри, вернулась в хижину к своему чертополоху.

* * *

Нора отправилась в Килларни довольно рано, перекинув ботинки через плечо, чтоб поберечь их и не испачкать в дорожной грязи. Пока она шла, сумеречный рассвет сменился яркой дневной белизной, галки подняли свой галдеж, приветствуя ноябрьское утро.

Как странно, что вернуться ей предстоит не одной, а с чужим человеком, с которым ей потом жить, и беседовать, и делить тепло очага. С тем, кто поможет скоротать тягостные зимние дни и дожждаться прихода весны с ее радостями – пением птиц и началом работ.

Нанять служанку посоветовала ей Пег О'Шей. После того случая в канун Самайна горе Норы переросло в праведный гнев, и она как буря ворвалась в жилище Пег.

– Я твоему мальцу, Джону этому, ноги повыдергаю! – вскричала она. – Колобродить среди ночи, на вдов и детишек страх нагонять, сон мой тревожить! Я безмужняя теперь, Мартина только-только схоронила, землю пахать теперь мне одной, ну еще племянники, может, подсобят, и тут Джон со своими головорезами в дверь барабанят и маски нацепили в придачу!

Нора с дрожью вспоминала потом, на обратном пути, слова, которые швыряла в лицо Пег:

– Да его повесить мало за такие шуточки! В могилу меня свести решили? Этого они хотели, паршивцы?

– Да нет, что ты, успокойся! – Пег взяла руку Норы в свои, легонько сжала. – Послушай, парням этим все равно, кого пугать – вдов, не вдов... И хорошо еще, что в масках они, не то ты бы еще и не так кричала. Ты Джона-то нашего хорошо разглядела? Лицо его видела? Чисто шматок сала на вертеле! Стоит поглядеть, как девчонки от него шарахаются! Ах, брось ты, Нора. Мы ж родня и всякое такое... Я поговорю с ним.

Тогда-то Пег мягко и посоветовала Норе подыскать себе кого-нибудь, с кем жить. Когда Нора скривилась в ответ на предложение съехаться с Дэниелом и Бриджид, старуха придумала, чтоб Нора нашла себе кого-нибудь на ноябрьской ярмарке, где нанимают работников.

– Подыщи себе девушку на зиму, в прислуги, – сказала она. – И тебе подспорье, и за Михялом присмотрит, и вообще... Ведь нелегко одной-то с малышом увечным управляться. Раньше как было: муж твой – в поле, ну и делает, что ты попросишь, а ты дома с мальчиком, верно? Ну а теперь как? Не отлучиться даже продать яйца или масло!

– Яйца и масло я могу продать скупщикам, они сами приедут.

– А летом, когда ты в поле? Когда работаешь там за двоих, чтоб сводить концы с концами?

– О лете я еще не загадывала.

– Стало быть, думаешь ты, что одной горе горевать лучше? А ведь есть девушки с севера, чьи семьи с голоду помирают! Разве не благом будет знать, что помогла ты, к себе взяла одну такую девушку? И не благо ли, что зимою в доме твоём еще одна живая душа прибавится?

В сказанном Пег был смысл. В тот же день, рухнув на постель и изнемогая от рыданий, которым вторил крик Михяла, Нора поняла, что сил у нее больше нет. Она не Мартин. Внук ей не в радость, а в тягость. Ей нужен кто-то, кто умел бы успокаивать орущего ребенка, кто помог бы выплыть ей, тонущей в волнах горя. И этот «кто-то» должен быть не здешний, не из жителей долины, чтоб не судачил с соседями о скрюченных ступнях малыша и не проболтался бы о том, что мальчик слаб умом.

До Килларни было десять миль пути через неровную болотистую, расцвеченную пятнами осенней листвы равнину, мимо маленьких, теснившихся к дороге мазанок, внутри которых хлопотали куры и орали петухи, требовавшие, чтоб их выпустили на двор. Нору обгоняли грохочущие дощатые телеги, запряженные ослами. Мужчины, не выпуская из рук вожжей, кивали Норе, в то время как их сонные, закутанные в платки жены, не поворачивая головы, продолжали глядеть вдаль, где за болотными трясынами маячили вершины гор: Мангертон, Крохейн, Торк – знакомые очертания этих громад лиловели на фоне неба.

Нора рада была выбраться из дома и шагать час за часом, проветривая голову и вдыхая свежий воздух. С тех пор как умер Мартин, она не покидала хижину, отказывалась участвовать в вечерних посиделках, куда прежде хаживала попеть и послушать истории. Нора не хотела себе признаться, что злилась на женщин долины. Их назойливое сочувствие казалось неискренним, а когда некоторые появлялись возле ее двери с едой и соболезнованиями и пытались развлечь ее, Нора, стесняясь Михяла, не пускала их в дом, не приглашала посидеть с ней у огня. С тех пор они, с жесткой последовательностью, как умеют делать зрелые женщины, мало-помалу стали удалять ее из своего круга. В глаза это не бросалось. Встречаясь с ней по утрам у родника, они по-прежнему здоровались, но, поздоровавшись, больше не обращали на нее внимания и разговаривали только друг с другом, давая Норе понять, что в их обществе она лишняя. Они ей не доверяли, и она их понимала. Тем, кто хоронится от людей, запираясь в своем углу, видно, есть что скрывать, и таят они, должно быть, нечто постыдное: удары судьбы, нищету, болезнь.

Видать, прознали про Михяла, думала Нора. Подозревают, что с ним не все ладно.

Полная и безнадежная беспомощность внука угнетала Нору, не давала дышать. И страшила. Накануне вечером она попыталась поставить его на ноги и помочь сделать шаг-другой. Она держала его так, чтобы ступни мальчика касались

пола. Но он лишь закидывал рыжую голову и, выставив бледную длинную шейку и острые ключицы, орал так, словно она вонзала булавки ему в пятки. Наверно, ей следует опять позвать к нему доктора. В Килларни их полно, но, привыкнув к большим кошелькам туристов, что приезжают на озера, тамошние врачи вряд ли захотят взглянуть на Михяла за те деньги, что она сможет им предложить. Да и тот первый доктор ничем ему не помог. Так что отдавать ради этого последний кусок – дело пустое.

Нет. У них в долине выбор у недужного невелик: либо священник, либо кузнец, либо уж могила.

Либо Нэнс, произнес тихий голосок в голове.

* * *

В Килларни кипела жизнь – шумная и дымная. Нью-стрит и Хай-стрит кишели нищими и детьми-попрошайками, кланчащими хоть полпенни; тесные, грязные улицы подавляли многолюдьем и нависающими домами.

Те, кто приехал продать свой товар, толпились, отвоевывая себе место возле деревянных лавок, бондарен и сыромятен; тачки, упиравшиеся в повозки и телеги, груды бочек и мешков создавали заторы. Большинство фермеров приехали на ярмарку нанять работников, но были и такие, что пригнали на продажу подросших с осени подсвинков и мелких рогатых коров, которые важно и неспешно шествовали по улице, меся грязь копытами. Немощенные дороги были в ямах и выбоинах и сверкали на солнце лужами. Мужчины несли на спине корзины торфа, добытого летом в черных болотах у гор, а женщины торговали картофелем, маслом и выловленными в ручьях лососями. В свежем воздухе чувствовалось приближение зимы, а в ярмарочном настроении ощущалась напряженная серьезность. Надо было успеть продать, купить, упаковать, сложить в мешки, разместить в сараях и амбарах, пока зима еще не наострила зубы и не оскалилась морозами и ветрами. Фермеры побогаче помахивали терновыми тросточками и покупали себе башмаки, а подвыпившие парни, скинув сюртуки, горели единственным желанием – подраться. Женщины считали яйца в корзинах, перебирая их, ощупывая кремовую скорлупу, а по улицам и в темных закоулках молча ждали те, кто решил наняться в работники.

Стоя в стороне от повозок и провизии, они вскидывали глаза на каждого из проходящих мимо мужчин и женщин. Парней среди них было больше, чем девушек, были даже дети, никак не старше семи лет. Они ежились друг подле друга, в позах, исполненных одновременно надежды и упрямого нежелания. Каждый из них держал что-нибудь, указывающее, зачем он здесь стоит, – узелок с вещами, сверток с едой или вязанку хвороста. Нора знала, что многие из свертков пусты. Из-за спин детей выглядывали отцы и матери, искали глазами фермеров в толпе прохожих. Родители вели переговоры с нанимателями от имени детей, и Нора, не слыша слов, понимала по застывшим улыбкам: нанимателям рассказывают, какие это честные и дюжие работники. Матери кусали губы, крепко вцепляясь в плечи сыновей: не скоро суждено им увидаться опять.

Внимание Нору привлекла женщина с землистым лицом. Рядом стояла сутулившись девочка лет двенадцати-тринадцати, надрывавшаяся влажным, болезненным кашлем. Нора видела, как женщина украдкой прикрывает рукой рот дочери, чтобы было потише, как пытается помочь ей распрямиться. Больную никто не брал. Кому нужна хворь в доме? Кто станет тратиться на гроб для чужой девчонки?

Взгляд Нору упал на высокую девочку с узелком под мышкой, стоявшую поодаль от других детей. Прислонившись к повозке, она хмуро наблюдала, как фермер разглядывает зубы рыжеволосого парня, которого наметил себе в работники. В девочке этой, в густой россыпи веснушек на ее лице, в легкой ее сутулости, словно она стесняется своего роста, было что-то располагающее, милое. Не красавица, но Нору к ней почему-то потянуло.

– Доброго тебе здоровья.

Девочка подняла глаза, и тут же, отступив от повозки, выпрямилась.

– Как тебя зовут? – спросила Нора.

– Мэри Клиффорд. – Голос у девочки был негромкий, хрипловатый.

– Скажи, Мэри Клиффорд, тебе работа нужна?

– Нужна.

– А откуда ты родом? Родители где живут?

– Возле Аннамора. У болота.

– А лет тебе сколько?

– Не знаю, миссис.

– Но на вид лет четырнадцать.

– Да, миссис. Точно, четырнадцать. Пятнадцать в следующем году, Бог даст, будет.

Нора кивнула. Подумала, что, может, девочка и старше, если судить по росту, но четырнадцать – возраст подходящий. О замужестве пока что мечтать не будет.

– Братья и сестры у тебя есть?

– Да, миссис. У меня их восемь.

– И ты старшая, да?

– Старшая из девочек. А вон там – это мой брат. – Она показала пальцем на стоявшего через дорогу рыжеволосого парня.

Наниматель-фермер тем временем приподнял ему картуз, чтобы осмотреть волосы. Обе они глядели, как грубые руки ерошат рыжую шевелюру и вертят голову мальчишки туда-сюда в поисках вшей. Щеки парня горели от стыда.

– А отец ваш или мать тоже здесь?

– Нет, мы с братом одни отправились. – Девочка помолчала. – Мама с папой дома с маленькими возятся, да и работа у них.

– А ты здорова? Больных в семье вашей нет?

Девочка покраснела.

– Я здорова, миссис. – Она открыла рот, желая показать Норе зубы, но Нора смущенно замотала головой.

– А доить, Мэри, ты умеешь? И масло сбивать?

– Умею. У меня руки к этому очень даже привычные.

Она вытянула вперед руки, словно вид вспухших костяшек и натруженных ладоней мог послужить доказательством ее умелости.

– А за маленькими присматривать приходилось?

– Я всегда помогала маме с ребятами. Если восемь нас, как же без этого? – Девочка подалась вперед, шагнув к Норе, словно из боязни, что та утратит к ней интерес. – А еще я пряду хорошо. И встаю спозаранку. Прежде птиц просыпаюсь, так мама говорит. Я и стирку на себя беру, и шерсть чесать. У меня спина сильная. Хоть весь день напролет могу одежду выбивать.

Нора не могла сдержать улыбки, слушая эти пылкие уверения.

– Ты раньше-то в работницах бывала?

– Да, миссис. Меня этим годом на ферму, что к северу отсюда, на летний срок брали.

– И как тебе? Понравилось?

Мэри помолчала, облизнула пересохшие губы.

– Трудная там была работа.

– Ты не захотела остаться там, да?

Мэри пожала плечами:

– Я на другую ферму хочу.

Нора кивнула, преодолевая внезапную головную боль. Прежде ей не приходилось так бесцеремонно расспрашивать незнакомых девчонок. Помощников обычно нанимал Мартин. Мужчины, которых он приводил в дом, были тихими, они не боялись работы в поле, а в доме точно стеснялись: и съеживались, прижимая руки к бокам, будто боялись ими что-нибудь сломать. Ловко, одним движением очищая от шелухи картофелину, они уже искали глазами следующую. Они бубнили розарий, спали на полу и вставали еще до света. Эти мужчины – широкоплечие, с задубевшими ногтями – пахли сеном и луговыми травами и редко улыбались. Одни возвращались год за годом, другие – нет. Нанимать же работницу им с Мартином никогда не было нужды.

Нора решила повнимательнее рассмотреть девочку, и та глянула на нее в ответ – ясноглазая, зубы стиснуты от холода. Выношенное платье было ей явно мало – запястья далеко торчали из рукавов, лиф жал в плечах и спине, – но опрятное, видать чистюля. Волосы короткие, до подбородка, тщательно расчесанные, вшей не видно. Явно хочет понравиться, и Нора представила себе сырой бохан, где девочка выросла и где остались восемь ее братьев и сестер. Вспомнилась Джоанна и гадкие шепотки и слухи, что, дескать, дочь Норина побирается, просит еду у соседей. У девочки волосы как у Джоанны. И у Михяла такие же – светло-рыжие, точно летняя заячья шкурка или опавшие сосновые иглы.

– Пойдешь ко мне на зиму, а, Мэри? Дочкина сына нянчить. Сколько попросишь за полгода?

– Два фунта, – без запинки ответила Мэри.

Нора прищурилась:

– Мала ты еще для таких денег. Полтора.

Мэри кивнула, и Нора положила ей на ладонь шиллинг. Девочка проворно сунула монету в узелок и, стрельнув глазами в брата, важно кивнула, дескать, все в порядке.

Фермер, что осматривал брата, отошел прочь, так его и не взяв, и теперь парень одиноко стоял в толпе и курил. Он провожал их взглядом и в последнюю секунду поднял руку в знак прощания.

* * *

До дома Нору они шли небыстро. Показалось солнце, ярко осветившее следы человеческих ног и колеи от бесчисленных телег и повозок.

Вся округа, двинувшаяся в Килларни с рогатым скотом и домашней птицей, превратила дорогу в сплошное месиво. Грязь поблескивала на солнце.

Нору не тревожило, что они с Мэри идут так медленно. Сделав дело – наняв себе помощницу, – она чувствовала облегчение. Шла она по обочине, вдоль канав, то и дело наклоняясь сорвать мокрицы для кур. Заметив это, Мэри тоже стала рвать мокрицу. Ступала она аккуратно, обходя грязь и камни, стараясь не обжечься крапивой.

– А не боялась ты одна затемно пускаться в такой долгий путь?

– Я с братом была, – просто ответила Мэри.

– Ты храбрая девочка. Мэри пожала плечами:

– Будешь храброй. Поддашься страху – работу упустишь. Даром простоишь на ярмарке весь день.

После этого они шли молча, через болотистую низину и узкие полосы леса, мимо деревьев, уже оголившихся в преддверии зимы, мимо темных зарослей глянцевого остролиста. Высокая трава на обочине побурела, дальние холмы, где между скал рос вереск, молчаливо высились на горизонте. И всю дорогу их сопровождал запах торфяного дыма, винтом поднимавшегося от далеких очагов.

До хижины Нору они добрались уже под вечер, когда солнце склонялось к закату. Мгновение обе постояли во дворе, переводя дух после трудного подъема по склону, и Нора видела, что девочка осматривается, оценивая новое свое обиталище. Взгляд ее скользнул с тесной, на два покойчика, хижины на

маленький хлев и нескольких кур, бродивших по двору. Небось рассчитывала девчонка увидеть дом побольше и крытый не камышом, а пшеничной соломой, а во дворе – откормленную свинью, а то и ослиные следы, а вместо этого увидела одинокую лачугу с единственным окошком, заткнутым соломой, с позеленевшими от мха белеными стенами да каменистыми бороздами картофельной делянки.

– Я корову держу. Так что в молоке и навозе недостатка нет.

Они вошли в хлев, в теплую темноту и запах мочи и навоза. Внизу темнел силуэт лежащей на соломе коровы.

– Тебе надо будет кормить и поить ее, доить по утрам и сбивать масло раз в неделю. Вечерами доить буду я.

– Как ее звать?

– Бурая, так мы... я ее зову.

Нора глядела, как обветренные руки Мэри потянулась к морде животного, потрепали уши. Бурая повернулась на бок, перебирая костлявыми ногами.

– Она много молока дает?

– Хватает, – отвечала Нора. – С Божьей помощью.

Выйдя опять на меркнувший уже свет, по размытой и грязной тропке они направились к дому. Завидя их, сбежались куры.

– Куры у нас ничего себе, – сказала Нора. – Вот дай-ка им мокрички. Они ее страсть как любят. Сейчас несутся они не шибко, но есть у меня несколько надежных курочек, те всю зиму яйца дают. – Она бросила строгий взгляд на Мэри: – Не вздумай таскать яйца. И масло тоже. Не то из жалованья вычту. Ты ешь-то много?

– Лишнего не съем.

– Хм. Ну, пошли.

Распахнув створку двери, Нора поздоровалась с Пег О’Шей, сидевшей у огня с Михялом на руках.

– Пег, вот это Мэри.

– Храни тебя Боже, и добро пожаловать. – Пег окинула Мэри оценивающим взглядом. – Ты небось из Кленси, вон какая рыжая.

– Из Клиффордов. Я Мэри Клиффорд, – ответила девочка, стрельнув глазами на Михяла. И осталась стоять с открытым ртом.

– Клиффорд, значит? Ну и слава богу, нам что Клиффорды, что Кленси. А издали ли будешь?

– Она на толкучную ярмарку нынче утром еще затемно отправилась, – пояснила Нора. – Из Аннамора. Он в двенадцати милях отсюда, а то и больше.

– И всю дорогу пешком шла? Матерь Божья, так ты, верно, на ногах не стоишь от усталости!

– У ней ноги крепкие.

– Да и руки, как видно. Вот, держи его. Это Михял. Нора, поди, уже все про него рассказала...

Пег приподняла Михяла, жестом приглашая Мэри подойти поближе.

Мэри глядела во все глаза. Нос Михяла был в корках, в уголке рта сохла слюна. Когда Пег подняла его, чтоб передать с рук на руки, мальчик завопил, будто его бьют.

Мэри попятилась:

– Что это с ним?

В наступившей тишине слышались только гортанные стоны Михяла.

Вздыхнув, Пег положила мальчика обратно себе на колени.

Покосившись на Нору, ногтем соскребла с лица Михяла засохшую слюну.

– О чем ты? Что с ним не так? – В голосе Норы слышалась угроза.

– Чего ему неможется? Чем недоволен? И почему кричит так жалобно? Он что, не умеет говорить?

– Он слабенький просто, вот и все, – осторожно сказала Пег.

– Слабенький, – повторила Мэри. Она все пятилась и пятилась, пока не очутилась в дверном проеме. – А он заразный?

Из горла Норы вырвался глухой рык:

– Ишь, смелая нашлась – спрашивать такое!

– Нора...

– Заразный он, слышала, Пег? Да как только у ней язык повернулся!

– Я ж ничего такого... Просто с виду он...

– Что он «с виду»?

– Нора... Спрос-то не беда... – Пег плюнула в краешек передника и обтерла Михялу лицо.

– Я только... – Мэри ткнула пальцем, указывая на ноги Михяла, которые обнажила задравшаяся до пупа рубашонка. – Ну хоть ходить-то он может? – Губы девочки дрожали.

– Она ж ребенок еще, Нора, – тихо сказала Пег. – Подойди сюда и сама посмотри, Мэри Клиффорд. Никакой заразной болезни у него нет. И вреда от него никакого тебе не будет... Ведь это просто дитя. Маленькое и безобидное.

Мэри кивнула, с трудом проглотив комок в горле.

– Ну, подойди же. Глянь-ка на него как следует. Он же славный малыш, ей-богу...

Мэри робко, из-за плеча Пег, разглядывала мальчика. Полузакрытые глаза ребенка, скошенные на кончик вздернутого носа, вялые губы.

– Ему больно? – спросила Мэри.

– Нет, не больно, нет. Он и смеяться может, и садится сам, без поддержки, может двигать руками и играть с разными вещами.

– А сколько ему?

– Ну... погоди-ка... – запнулась Пег. – Года четыре. Так ведь, Нора?

– Он перышки любит, – еле слышно произнесла Нора. И неуверенно опустилась на шаткую табуретку напротив Пег. – Перья...

– Да, точно. Четыре ему. И он любит перышки. И желуди. И бабки. – Пег старалась говорить весело. – Вот только ножки у него подкачали.

– Он ходить не может, – хрипло сказала Нора. – Раньше мог, а теперь разучился.

Мэри, опасливо взглянув на мальчика, плотнее сжала губы. Потом сказала:

– Михял? Я Мэри... – Она перевела взгляд на Нору – Он что, стесняется?

– Он не может сказать нам, стесняется или нет. – Нора помолчала. – Мне следовало предупредить тебя.

Мэри потрянула головой. От болотной сырости по дороге волосы ее закудрявились, и она казалась еще младше – маленькая испуганная девочка. И Нора внезапно рассердилась на себя. Ведь это тоже еще дитя, а я ору на нее, чужая тетка.

– Слушай, ты ведь такой путь проделала, а я тебе даже попить не предложила. Ты ж небось от жажды помираешь...

Встав, Нора долила воды из ведра в горшок над очагом.

Пег легонько стиснула плечо Мэри:

– Давай положим его. Сюда вот, на вереск. Далеко-то он не уйдет.

– Я могу его взять. – Сев рядом с Пег, Мэри переложила Михяла себе на колени. – Ой, какой худой! Косточки одни! И легкий как перышко!

Женщины смотрели, как Мэри поправила на Михяле рубашку, прикрыв ему ноги, а затем укутала их собственным платком, сняв его с головы.

– Вот так. Теперь тебе будет полегче.

– Что ж. Мы рады, что ты у нас есть, Мэри Клиффорд. Всего тебе хорошего, и да благословит тебя Господь. А я лучше пойду к себе.

И, бросив на Нору многозначительный взгляд, Пег заковыляла к двери и вышла, оставив их одних.

Голова Михяла упиралась теперь Мэри в ключицу. Девочка неловко обняла его.

– Он весь дрожит, – сказала она.

Налив в два ковшика сливок, Нора принялась готовить картошку на ужин. Что-то сжимало ей горло точно веревкой, не давая вымолвить ни слова. Прошла не одна минута, прежде чем из-за ее спины донеслось неуверенное:

– Я уж постараюсь для вас.

– Надеюсь, что постараешься, – с трудом выдавили из себя Нора. – Очень надеюсь.

* * *

Позже тем же вечером, когда, закончив свою молчаливую трапезу и загнав кур на ночь, они раздвигали лавку и клали на нее соломенный тюфяк и одеяло, Нора сказала:

– Тебе тепло будет здесь у огня.

– Спасибо, миссис.

– И Михял будет с тобой рядом спать, для тепла.

– А он разве не в колыбели? – спросила Мэри, кивнув в сторону грубой плетенки из ивовых прутьев.

– Он вырос из нее. Тесно ему там. Да, и последи, чтоб он укрыт был хорошенько, он ночью все тряпье с себя скидывает.

Мэри взглянула на Михяла. Мальчик сидел, прислоненный к стене, голова его свесилась на плечо.

– Утром мы пройдемся чуток, и я покажу, где что в долине. Тебе ж надо знать, где родник. И место хорошее покажу, где лучше встать на речке белье полоскать. Там и другие девушки будут, с которыми тебе не вредно познакомиться.

– Михял тоже с нами пойдет?

Нора пронзила девочку взглядом.

– То есть вы его дома оставите или с собой возьмете? Ножки-то ведь у мальчика...

– Я не люблю его из дому вытаскивать.

– Что ж, вы его одного оставите?

– И не люблю, когда толкут воду в ступе и болтают пустое.

И, подняв лохань с грязной водой, в которой они мыли ноги, Нора открыла дверь и, кликнув фэйри «берегись», выплеснула воду за порог.

Глава 4

Ясень

– Кто там? Душа живая аль из мертвых кто?

Приоткрыв дверь бохана, Питер О’Коннор просунул голову под низкую притолоку. В руке он держал бутылку:

– Уже и неживой, до того в глотке пересохло!

Нэнс, кивнув, пригласила его войти:

– Ну, садись, Питер. Рада тебя видеть.

– Хорошо Мартина помянули. И ты свое кыне как красиво выводила, Нэнс!

Питер сел возле огня. Взяв грубо кованные щипцы Нэнс, выудил горящий уголек из очага и зажег трубку. «Да смилуется Господь над душами усопших», – прошептал он и сосал трубку, пока табак в ней не занялся и в воздух не поплыли кольца дыма.

– С чем сегодня пожаловал, Питер? Все плечо покоя не дает?

Питер покачал головой:

– Нет, плечо в порядке.

– Так что ж тогда? Глаза?

Когда мужчина на вопрос ее не ответил, Нэнс уселась поудобнее на своей табуретке и приготовилась терпеливо слушать.

– Сны мне снятся, вот что, Нэнс, – нарушил наконец молчание Питер.

– Да неужто сны...

– Не знаю уж, к чему бы они, – сквозь зубы процедил Питер. – И всё сильные такие.

– И что, донимают они тебя?

Питер глубоко затянулся трубкой.

– С тех самых пор донимают, как увидел я Мартина бездыханным на перепутье.

– Тревожные сны-то?

– Хуже некуда. – Питер поднял взгляд от огня, и Нэнс заметила, как потемнел он лицом: – Мерещится мне, будто беда на нас надвигается, Нэнс. Снится то скотина окровавленная, с перерезанным горлом, кровь на землю капает. – Он покосился на козу. – То будто тону я. Либо висельник привидится. А просыпаюсь точно от удушья.

Нэнс ждала, что еще скажет Питер. Но тот сидел молча, подтянув колени к самому подбородку, и Нэнс жестом показала на принесенную им бутылку.

– Так выпьем, что ли?

Вынув пробку, она передала бутылку Питеру.

Он хорошенько отхлебнул, передернул плечами, вытер рот.

– Крепкий потинь, что надо... – пробормотала Нэнс, в свою очередь приложившись к бутылке. И, отсеяв к огню, приготовилась слушать. Бывает, людям только и надо, чтоб их выслушали. Не торопя, в тишине, чтоб не было рядом разговоров, болтовни всяких там соседей. Ничего чтоб не было – лишь горящий очаг и женщина. Такая, что не вызывает желания. Такая, что не выболтает подружкам твоего секрета. Старуха, которая умеет слушать и знает толк в куреве и выпивке. Ради этого стоит постараться, выскользнуть из дома незаметно, пройти по парующим полям, мимо замшелых оград, чтоб уже под вечер навестить старуху в ее лачуге. Нэнс знала силу молчания.

В очаге горел огонь. Питер докурил трубку и выбил о колени. Они продолжали сидеть, время от времени передавая друг другу бутылку, пока в щель под дверь не поползла вечерняя сырость и не заставила Питера стряхнуть с себя оцепенение:

– А говорил я тебе про четырех сорок, которых видел, прежде чем Мартин отошел, помилуй Господь его душу?

Нэнс подалась вперед на табуретке:

– Нет, Питер, не говорил.

– Четыре их было. Это ведь смерть предвещает, верно? И огни тогда горели у твоей Дударевой Могилы. У круглого-то оплота. Вот тогда-то я первый сон и увидел.

– А я видела, как молния ударила в вереск на горе, – пробормотала Нэнс.

– В тот вечер, когда Мартин умер?

– В тот самый. И странным ветром потянуло.

– Это они повылазили! Добрые соседи! Думаешь, из-за них я и сны теперь видеть начал, да, Нэнс?

Нэнс коснулась рукой его плеча и на мгновение увидела хижину Питера, его узкую койку у стены, и как он долгие часы курит, боясь заснуть, а ночь обступает его со всех сторон.

– Ты в сорочке родился, Питер, так ведь? А значит, тебе дано видеть вещи, от других скрытые. Но все-таки, Питер, помни, что, если долго сидеть в темноте одному, и не такое примерещится.

Питер ковырнул в зубах грязным ногтем и хмыкнул:

– Да чего уж там, ей-богу... Пойду я лучше...

– Конечно, Питер. Иди домой.

Питер помог Нэнс подняться на ноги и подождал, пока она щипцами вытаскивала из очага горящий уголек и опускала его в ведро. Уголек зашипел и погас. Тогда она обтерла его краем юбки и, сплюнув на землю, протянула Питеру:

– Сегодня ночью никаких соседей ты не увидишь. Бог в помощь тебе на дороге.

Питер сунул уголек в карман и коротко поклонился.

– Благодарствую, Нэнс Роух. Ты добрая женщина, лучшая из всех на земле, что б там ни говорил новый священник.

Нэнс подняла бровь:

– Священник тратит слова свои на меня? Вот как? Питер коротко хохотнул:

– А я не говорил? О, да слышала бы ты, что он плел на мессе! Пытался, как он сказал, открыть нам глаза на то, что мир изменился и стал теперь другим. Пора, говорил, покончить со старыми обычаями и привычками, которые держат ирландцев на самом дне, среди отбросов человечества. «Настала новая эра для

Ирландии и католической церкви, и долг наш жертвовать на дела церковные, а не тратить их, платя всяким там нечестивым плакальщицам».

– «Покончить со старыми обычаями». Хорошо у него, видать, язык подвешен.

– Ничего хорошего, Нэнс, – покачал головой Питер. – По мне, так лучше пока священника этого стороной обходить. Пусть приживется здесь, пообвыкнется. Посмотрит, как у нас тут люди живут, поймет, что к чему.

– Небось он думает, что это я за «старые обычаи».

Лицо Питера сделалось очень серьезным.

– «Старые обычаи» – это язычество. Он сказал, мол, знает, что люди к тебе ходят, и что больше так быть не должно. – Питер помолчал. – Сказал, что ты чертовщиной всякой занимаешься и хитростью деньги за эти твои причитания выманиваешь.

– Вот как... Значит, новый священник против меня пошел.

– Отец Хили, он может. Но вот же я здесь. И, богом клянусь, никакой чертовщины я у тебя в доме не вижу.

– Господь да хранит тебя, Питер О'Коннор!

Улыбнувшись ей в ответ, Питер нахлобучил на голову шляпу.

– Ты по-прежнему нужна нам, Нэнс. И по-прежнему нужны нам старые обычаи и старые знания. – Он помолчал, улыбка исчезла с лица. – Да, кстати, Нэнс. Знаешь, есть мальчик, на горе у Норы Лихи. Увечный. Я подумал, сказать тебе надо, чтоб ты знала, если вдове вдруг понадобится.

– Я когда на поминках там была, никакого увечного не видела.

– Ну да, она велела мне его унести.

– А что за хворь у него такая?

– Не скажу, Нэнс, не знаю. – Питер выглянул за дверь. Там уже напелзала темнота. – Но что-то с ним крепко не так.

* * *

Остаток вечера Нэнс просидела, сгорбась у огня и трогая зубы кончиком языка. Ночь выдалась беспокойная. Квакали лягушки, и кто-то шуршал: не то крыса под стеной, не то галка в соломе на крыше.

В досужие часы время словно прекращает свой бег. И часто, вычесывая шерсть или ожидая, когда закипят в горшке несколько картофелин, Нэнс воображала, что рядом Мэгги. Странная, пугающе непохожая на других, невозмутимая Мэгги – сушит травы или свежует кролика. В зубах трубка, руки при деле, а сама учит Нэнс слушать глухое, потаенное биение мирового сердца. Наставляет, как спасти других, если уж родную мать не спасла.

Как же стремительно собираются призраки!

– Есть люди особенные, Нэнс. Они рождаются другими, вне мира обычных вещей, кожа у них тоньше, а глаза более зорки и видят то, чего большинство людей не замечает. Сердце у них вбирает больше крови, река для них меняет свое течение.

Вспомнилось, как сидели они в отцовской хижине, как мыли ноги, смывая дорожную грязь. И как волновалась Нэнс, как прыгало сердце в ее груди, когда принимала она первого своего младенца, седьмого сына кучеровој жены. Какая радость была, когда показались волосики, когда мягко, как воск, скользнул младенец в ее руки! И как задрожала она от первого крика ребенка...

А Мэгги, улыбнувшись ей, села на табуретку, зажгла трубочку.

– Помню я и как ты родилась, Нэнс. Очень мучилась тогда твоя мать. Противилась ей природа что-то. Пришла я – в доме кавардак. Отец твой сам не свой – никак ты не хочешь в мир являться, силком тебя тащат. Я отперла все замки и запоры. Дверь раскрыла, солому из оконных щелей вынула. Узелки на

шали моей развязала и на одежде роженицы тоже. А мужчинам велела корову отвязать и из хлева выпустить прямо во тьму ночную. И только когда все вокруг развязалось – расслабилось, ты выскользнула к нам – рыбкой из сети.

– А ты уже тогда знала, что я особенная?

Тетка ее улыбнулась. Выбила пепел из трубки.

– Родилась ты, как иной раз бывает с детьми, глубокой ночью, в смутные предрассветные часы. Кулачонки сжаты были. Не успела родиться, и уже в ссоре со всем миром.

Повисла тишина.

– Не хочу я быть не как все. Не хочу быть одна такая!

Мэгги придвинулась к ней, глаза ее сверкнули:

– Что в нутре сидит, того не вытравишь. Скоро сама поймешь.

* * *

Мэри, вздрогнув, проснулась, грудь сдавило тревогой. Сев в постели, обливаясь по?том, она огляделась – в очаге горит огонь, кругом нее стены незнакомого жилища. Не сразу она вспомнила, где находится.

Я в доме у той вдовы.

Рядом с ней спал ребенок, прижавшись к ее ноге худой скрюченной спиной.

Я в доме у той вдовы. А это ребенок, которого я должна нянчить.

Она снова легла и попыталась уснуть, но запахи в доме казались странными и тоскливо ныла грудь. Хотелось обратно в Аннамор, хотелось, чтоб рядом были братья и сестры, все вместе, кучей лежали бы перед огнем на сладко пахнущем камыше, хотелось так, что слезы выступили на глаза. Мэри сморгнула слезы и,

сунув руки под подбородок, уткнулась лицом в самодельную, сделанную из тряпок подушку.

Болел живот. Они слишком много съела. По крайней мере, не оголодаю я здесь, подумала Мэри, что бы там ни говорила вдова насчет яиц. Бывают места и похуже. Дэвид рассказывал ей о ферме, куда нанялся прошлой осенью, маленьком хозяйстве на полуострове, где они все дни напролет резали и таскали на поля водоросли для удобрения.

Стоишь в соленой воде, согнутую спину холодным ветром обдувает, а потом тащишься на поля с тяжелой поклажей. Мокрые водоросли через прутья корзины мочат одежду, спину саднит.

Моли Бога, чтобы попасть тебе туда, где тебя кормить будут досыта, так он ей сказал. Дэвид не работы испугался. К работе и мужчины, и женщины в их краях привычные. Но куда как плохо, когда на теле оседает соль, ноги – в кровавых ранах от скрытых под водой острых камней, а в брюхе только ветерок морской посвистывает, а больше, считай, и нет ничего.

При матери брат ничего подобного не рассказывал. Она б извелась от таких рассказов, а у нее и без того забот хватает – то кто-то из малышей кашляет, то картошка не уродилась, а едоков – полон дом, а еще слухи о выселении, и арендаторы, сами сдающие участки крестьянам, шастают с ломами от хижины к хижине. Дэвид дождался, пока все выйдут из дома во двор искать яйца в траве.

Найди себе такое место, сказал он ей тогда, чтоб кормили. Плевать, если там грязно. Ведь семьи есть, что людей нанимают, а у самих за душой не больше нашего. И спят на камышах, как и мы. Но поищи такого хозяина, который проследит, чтоб сыта была.

На северной ферме, где она лето проработала, кормить кормили. Картошка там была. Овсянка. Но есть позволялось только после хозяев: допить сливки из ковша, выскрести остатки из горшка.

Мэри повернулась на бок. Могло бы быть и хуже, успокаивала она себя. Всего только одинокая женщина и ребенок, орущий и плачущий в доме, корова и клочок неудобья. Но чувствовалось в этом всем что-то странное, а что – понять она не могла. Возможно, одиночество хозяйки. Этой вдовы, Норы Лихи, женщины

со впалыми щеками и волосами, тронутыми на висках сединой. На первый взгляд, судьба ее сложилась худо. Щиколотки опухли, лицо избороздили глубокие морщины. Но Мэри, вглядевшись в лицо Норы на ярмарке, заметила и другое: лучистый узор у глаз говорил о том, что жизнь свою она прожила хорошо.

Дэвид учил ее всматриваться в лица. Если у мужика красный нос, значит, пьяница и от его дома лучше держаться подальше, потому что денежки он спустит на выпивку, а на еду для домочадцев мало что останется. Бабы с поджатыми губами, люди говорят, все сплошь злыдни. Такая станет следить за каждым твоим шагом. Лучше поищи в хозяйки женщину не хмурую и чтоб от глаз морщинки расходились птичьей лапкой.

«Значит, либо на солнце привыкла щуриться, либо душа добрая. И не важно, отчего эти морщинки – от работы в поле или от улыбок, у такой хозяйки тебе плохо не будет».

Морщинки птичьей лапкой у Норы Лихи были. И в Килларни она показалась Мэри довольно доброй; одета опрятно, лицо открытое. Но о том, что сама-то она вдова, смолчала, и про мальчика солгала.

Как сказала она тогда?

Дочкина сына нянчить.

Ни словом не обмолвилась о том, что тело-то у мальчика все скрюченное, челюсть отвисла и что немой он. Не намекнула даже, что в доме болезнь, смерть и тайна, о которой лучше помалкивать.

Таких детей, как Михял этот, Мэри прежде не видывала. Когда спит, ну просто худющий недокормленный малыш, а в остальном – ребенок как ребенок, даром что хилый и бледный. Но стоит ему проснуться, и сразу ясно: что-то с ним совсем не то. Глазами голубыми шарит, а словно не видит, смотрит так, будто и нет ее рядом. И руки странно держит, все к груди прижимает, рот полуоткрыт, кривится. Старичком кажется. Кожа сухая, кости обтянула, тонкая, как странички в требнике. Совсем не похож он на тех круглощеких ребятишек, которых Мэри привыкла нянчить. Когда, переступив порог хижины, Мэри впервые увидела его на коленях у старухи, она поначалу решила, что это и не

ребенок вовсе, а страшная, как чучело, кукла. Игрушка детская из палочек, обряженная в старое платье, вроде мощей святой Бригитты, которые носят в ее день на носилках, – скукоженная головка и угловатый скелет, прикрытый какими-то тряпками. А потом, когда она подошла поближе и увидела, что это живой мальчик, сердце у нее упало от страха. Тощий и пораженный какой-то хворью, из тех, что тянут сок из растения, пока не превратят его в засохший стебелек. Ее привели в дом, где хозяйничает болезнь, и болезнь эта захватит и ее. Но нет же – они говорят, что не болен он. Только растет плохо, медленно. С трудом растет, но старается, борется, чтоб быть как все дети.

Рыжий, волосы как медь, курносый слабый недоумок. Мешок костей, весь в сыпи и стонет, точно нечистая сила завывает.

Мэри легонько коснулась лба Михяла, отвела упавшую прядь. Из уголка рта у него текла слюна. Мэри стерла ее тыльной стороной ладони и вытерла руку одеялом.

Наверно, вдова стыдится мальчика. Потому и не рассказала о нем заранее.

В чем провинилась ее дочь, чем заслужила такого ребенка?

Если, встретив на дороге зайца, женщина может наградить своего ребенка заячьей губой, то что за чудище должна была она встретить, чтоб выродить такого уродца с вывернутыми костями?

Видать, большой грех она совершила, коли младенца в ее утробе эдак испортило!

Однако вдова говорила, он не от рождения такой.

Может, потом его чем пришибло.

Ладно, чего там думать-то, решила Мэри. Домой ей путь все равно заказан. На этой ферме, в этой долине, похожей на оспину на коже, в этой вмятине, зажатой между скалистыми горами, ей предстоит жить и осваиваться следующие полгода. Закуси губу и работай. Ведь ей заплатят за это неплохие деньги, которые она принесет в семью, а пока они с Дэвидом на заработках и домой от

них текут шиллинги, выселение семье не грозит. Ради этого стоит потерпеть, выдержать эти полгода с суровой, своенравной женщиной и ребенком-калейкой. А потом она вернется к себе на камыши рядом с братьями и сестрами, и отец будет тихо читать розарий, а они станут засыпать под его бормотанье у теплого очага, заснут и будут спать крепко, так что даже вой ветра за окном их не разбудит.

* * *

Нора проснулась в волнении и беспокойстве. В доме чужой человек. Эта девочка, Мэри. Быстро накинув одежду, Нора вышла из своей выгородки.

Девочки не было. Раскладная лавка была опять собрана и превращена в обычную скамью, зола вычищена, пламя ярко горело в очаге. В углу Нора заметила Михяла, спавшего в пустой корзине, придавленной к полу тяжелыми угольными щипцами. Щипцы лежали поперек корзины, совсем рядом с неподвижной головой ребенка.

Ни следа Мэри.

Куры слетели с насеста, и Нора стала шарить рукой в поисках яиц. Четыре штуки, еще теплые. Аккуратно укладывая их в особую корзинку, она услышала, как скрипнула дверь сарая, и резко повернулась на звук. Мэри стояла там на утреннем морозце, закутанная, с дымящимся ведром свеженадоенного молока, которое она прикрыла тряпицей.

– Мэри... – так и ахнула Нора.

– Доброго вам утречка, миссис.

Мэри поставила молоко на стол и стала процеживать его через тряпицу.

– Я думала, что ты ушла.

– Просто я встаю рано, миссис, я ж говорила. А вы велели мне по утрам доить, так что... – Она понизила голос: – Я что-то не то сделала?

Нора засмеялась с чувством облегчения:

– Да нет, не важно... Просто вечером... и я подумала... – И, после паузы: – А где же путы, чтоб стреножить ее?

– Я их не нашла.

– Ты доила Бурую, не стреножив?

– Да она ж коровка ласковая и послушная.

– Путы вот здесь. В углу. Я держу их в доме, чтоб никакой любитель чужого маслаца ими не попользовался.

Нора ткнула пальцем в лежащие в корзине щипцы:

– А вот этого я давненько не видывала.

Покраснев, Мэри вернула щипцы на их место возле очага.

– Это от фэйри, миссис. Чтоб его не утащили. Мы в Аннаморе так делаем.

– Да, я знаю для чего. Здесь у нас это дело тоже в ходу, но я давно уж не боюсь, что фэйри утащат моего малыша.

Лицо Мэри залило розовой краской:

– Михял... Хворенький наш ночью обмочился. Я его помыть хотела, но не было воды.

– Я покажу тебе, где родник.

* * *

Утренний воздух был чист и влажен; мокрый зеленый мох, облепивший полевые изгороди, ярко сверкал на солнце. Стоял холод, но солнечный свет был нежно-золотистым, и легкий дымок, поднимавшийся от хижины, тоже отливал золотом. А на самом дне долины, в низине, стлался туман.

– Река там внизу, – сказала Нора, выйдя с Мэри на двор. Михяла они оставили в хижине одного, хорошенько забаррикадив в его корзине из-под картофеля и отодвинув подальше от огня. – Река зовется Флеск. Из нее ты тоже можешь брать воду, если хочешь, но потом долго идти с полными ведрами, и все в гору. И скользко к тому же, по сырости. Когда погода переменится, пойдешь туда белье полоскать. Идти к роднику еще дальше, но дорога туда получше и ногам полегче будет. Все женщины у нас к роднику за водой ходят. Вода родниковая чище.

– А много здесь женщин, в долине? – спросила Мэри.

– Много ли? Да столько же, сколько и мужчин, хотя есть у нас фермеры и неженатые. Видишь вон тот дом, по соседству? В нем Пег О’Шей живет, ты ее вечером у меня застала. Семья у нее большущая. Пятеро детей, да еще их дети в придачу. – Нора обвела рукой долину, открывшуюся, когда опоясывающая холм дорога, по которой они шли, устремилась вниз, на равнину. – Видишь, вон там, внизу, два дома и печь для обжига известняка рядом? Посреди долины почти? Там кузнец живет, Джон О’Донохью, и жена его Анья. К нему на вечерки собираются. Детей у них нет, хоть вот уже десять лет как женаты. Почему – непонятно. Люди об этом молчок. А дальше, за ними, племянника моего дом; сейчас не видно, правда, из-за тумана. Дэниел Линч – так он зовется. Жена его сейчас первенца ждет. Ты частенько будешь видеть его и его брата на нашей ферме. Они подсобляют мне по хозяйству. Муж-то мой недавно умер...

– Сочувствую вам в вашей горе, миссис.

Послышался смех, и Нора, почувствовав, как подступают слезы, обрадовалась, увидев двух женщин с ведрами, спускавшихся к ним по склону.

– Спаси тебя Господь, Нора Лихи, – сказала одна из женщин, отводя с лица край накидки, чтобы лучше видеть. Из белокурых кос ее выбились кудрявые пряди.

– И вас также, Сорха и Эйлиш. А это Мэри Клиффорд, чтобы вы знали.

Женщины, прищурившись, с интересом оглядели Мэри.

– К роднику собрались, да?

– Да.

– Эйлищ замужем за учителем, Мэри, за Уильямом О'Хара. Он вон там детей учит – за живыми изгородями. А Сорха – дочь жены брата моего деверя.

Лицо Мэри выразило замешательство.

– Не беспокойся, со временем ты со всеми перознакомишься и во всем разберешься. У нас секретов нет, все на виду. И все знают всех.

– Все мы, хочешь не хочешь, а родством связаны, – подняв бровь, добавила Эйлищ – невысокая, коренастая, с темными мешками под глазами.

– Ты об отце Хили-то слышала, Нора?

– А что такое?

Сорха испустила тяжелый вздох:

– Да прослышал он про бдение на поминках Мартина твоего. И прямо взбеленился! – Она хихикнула: – Слышала бы ты, какую он проповедь сказал на мессе! Осерчал-то как!

Нора досадливо покачала головой:

– Неужели?

Сорха придвинулась поближе, задев ведром ногу Норы:

– Он очень на плакальщицу твою, Нэнс Роух, злобствовал. Против нее проповедовал. Сказал, чтоб не приглашали ее на кыне. Сказал, что церковь

этого не одобряет.

– Да что за бдение будет без плача? – возмутилась Нора. – Слыханное ли дело?

– Ой, с ним прямо как припадок сделался. Вязать впору, – добавила Эйлиш. Она вспоминала о случившемся скандале с явным удовольствием. – Кричал, слюной брызгал. Мне все лицо оплевал. Платком вытирать пришлось.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Поти?нь – крепкий алкогольный напиток из ячменя или картофеля, ирландский самогон (ирл. poit?n). Здесь и далее произношение ирландских имен и названий приводится в варианте, свойственном диалекту провинции Манстер, где происходит действие романа.

2

Кишя?н (ирл. cisean) – корзина.

3

Каля?х – карга, ведьма (ирл. cailleach).

4

Кыне – похоронный плач (ирл. caoineadh).

5

Су?ган – соломенная нить (ирл. s?gan).

6

Боха?н – глинобитная хижина (ирл. bothan).

7

Кали?нь – девушка (ирл. cail?n).

8

Бян фяса – вещунья (ирл. bean feasa).

9

Прашя?х – жидкая овсянка (ирл. praiseach).

10

Шкя?хъял – боярышник (ирл. sceach gheal).

11

Пука – ирландское название гоблинов (ирл. p?ca).

12

Мамо? – бабушка (ирл. mamó).

Купить: <https://telnovel.com/ru/hanna-kent/temnaya-voda>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)